

Козленок в молоке

Автор:

Юрий Поляков

Козленок в молоке

Юрий Михайлович Поляков

Герой романа «Козленок в молоке» молод, легкомыслен и немного заносчив. Он влюблен, а потому чувствует себя всемогущим и берется на пари сделать из первого встречного гения, который, не написав ни единой строчки, станет знаменитым писателем... Главное, чтобы об этом, кроме спорящих, не знала ни одна живая душа. Но никто не знает, какую цену придется заплатить за невинный розыгрыш.

Юрий Поляков

Козленок в молоке

Многоуважаемый Иосиф Виссарионович!

«Чем далее, тем более усиливалось во мне желание быть писателем современным. Но я видел в то же время, что, изображая современность, нельзя находиться в том высоко настроенном и спокойном состоянии, какое необходимо было для произведения большого и стройного труда. Настоящее слишком живо, слишком шевелит, слишком раздражает; перо писателя нечувствительно переходит в сатиру...»

Н. Гоголь.

Из письма М. А. Булгакова И. В. Сталину.

30 мая 1931 г.

1. Пролог на небесах

«Самолет набрал высоту и теперь натужно гудел, точно обожравшийся нектаром шмель, тяжело волокущий по воздуху свое мохнатое тело к скрытой в разнотравье заветной норке...» «Разнотравье» – плохо. В траве... Да, просто в траве! Иногда проще избавиться от избыточного веса, чем от избыточного слова. (Неплохо сказано! Надо бы запомнить.) Пошли дальше. «В иллюминаторе виднелась земля, такая крошечная, что, казалось, отсюда, сверху, можно одним плевком накрыть средний европейский город». Тоже ничего – образно. Но с физиологическим оттенком. Это меня всегда смущает. Попробуйте роденовский «Поцелуй» представить себе в виде интенсивного обмена двух организмов выделениями слюнных желез – стошнит!..

Стюардесса подкатила к моему креслу уставленную бутылками тележку и великодушно предложила на выбор: лимонад – даром, алкоголь – за валюту. От нее прямо-таки разило парфюмерией. Помимо этого, девушка тщательно демонстрировала свою вызубренную в школе стюардесс улыбку, которую, очевидно, перед сном она вынимает изо рта и кладет в стакан с водой, как пенсионер – вставную челюсть. Это тоже надо бы запомнить. Профессия литератора очень напоминает первобытное собирательство. Вырвал корешок, надкусил. Горько – сплюнул и выбросил, вкусно – сунул в торбочку и дальше побрел.

Вот о каких пустяках я думал, даже не подозревая, что он уже рядом и собирается меня убить или в лучшем случае изувечить...

Я взял сто «Смирновской» и порцию оливочек, фаршированных анчоусами, – на закуску. Долгое время я полагал, что анчоусы – это нечто вызывающе растительное, но оказалось – просто рыбки, наподобие килек. Я заплатил пять долларов, получив вместо сдачи все ту же вставную улыбку. Ерунда! Такие расходы я теперь мог себе позволить, потому что возвращался из Катаньи с гонораром, которого мне должно хватить на полгода скромной жизни.

Собственно говоря, эти полгода я собирался провести за письменным столом, чтобы наконец закончить повесть о партийном функционере, оказавшемся

жутким вампиром и по ночам пробиравшемся в сектор учета своего райкома, чтобы, контактируя с фотографиями, наклеенными на учетные карточки, пить биоэнергию из ничего не подозревавших рядовых коммунистов. Улетая на Сицилию, я остановился на том, что, лакомясь одной привлекательной кандидаткой в члены КПСС, он – по фотографии – влюбился в нее без памяти и, чтобы познакомиться поближе, пришел ей персональное дело... Что случится дальше, я представлял себе очень смутно, а заканчивать вещь нужно срочно, иначе будет совсем поздно: все издательства просто завалены беллетризованными поношениями предшествующего режима, ибо это единственное, чем сегодня может прокормиться честный, но не упорствующий в своих принципах писатель. Время, когда можно было заработать на пионерских приветствиях, безвозвратно ушло, а написать нечто стоящее или, как я выражаюсь, «главненькое» мне не удалось и уже никогда, наверное, не удастся... Но жить-то надо!

Если же быть совсем откровенным, то повесть у меня застопорилась задолго до того, как я улетел на Сицилию, на этот дурацкий день рождения, вылившийся в конференцию по обмену опытом между отечественными и итальянскими мафиози. Ведь с повестью – как с женщиной: если ты, обнимая ее, думаешь о другой, разрыв – просто вопрос свободного времени. Сочиняя эту чепуху, я чувствовал себя мерзавцем, который изменяет своей невинной, как свежий гигиенический тампон, невесте с привокзальной цыганкой. И вот однажды, проснувшись утром, я почувствовал, что ненавижу все: сюжет, героев, пишущую машинку, себя... Я ненавижу эту мерзкую, задышливую жизненную борьбу, не оставляющую ни сил, ни желаний для борьбы за мечту. В этом, кстати, и заключается главное, базисное свинство бытия: осуществить мечту можно только за счет тех сил, какие обычно тратятся на борьбу за жизнь. Замкнутый круг. И разорвать его невозможно. Почти... Тех, кому это удалось, можно сосчитать по пальцам. Костожогов, к примеру... Впрочем, пример неудачный: жизнь его в конце концов все-таки сожрала, схарчила, схрумкала. И не подавилась, скотина! Нет, мир стоит не на слонах, не на китах и даже не на быках. Мир стоит на трех огромных свиньях, грязных, смердящих и прожорливых...

Единственный раз в жизни у меня был шанс разорвать этот проклятый круг, но я воспользовался им, как дуралей, который по счастливой случайности выпустил джинна из бутылки (именно из бутылки!), а на громовой призыв: «Спрашивай чего хочешь!» – спросил: «Который час?»

Итак, повесть о вампире застопорилась. Я целыми днями маялся на диване, пытаюсь вдохновиться чтением разной там нобелевской и бейкеровской графомании, – начинаешь возмущаться: мол, они и писать-то не умеют, а им еще и премий понадавали! Это иногда помогает вернуться (в знак протеста) к письменному столу и, стуча по клавишам, мстить, мстить, мстить. Но на сей раз даже чтение тошнотворного Сартра не помогло. Иногда я вставал, подходил к пишущей машинке, постыдно изнашившейся от многолетней моей литературной халтуры, тыкал в какую-нибудь букву и испытывал отчетливое желание расколотить эту клавишную шмару о стену моего кабинета, служившего одновременно спальней, столовой и гостиной. Муки творческого бесплодия дополнялись еще и тем, что денег – а я держу их в прикроватной тумбочке – становилось все меньше и меньше. Я даже уже не заглядывал в тумбочку, а просто, приоткрыв дверцу, нашаривал рукой несколько бумажек и спускался в магазин, чтобы купить чего-нибудь пожрать, – чаще всего пельмени – их просто нужно высыпать в кипящую воду и не упустить момент, иначе они развариваются до лохматого бульона, в каковом, если верить науке, некогда и зародилась жизнь. Впрочем, сам я считаю, что жизнь – это всего-навсего экскремент Абсолютного Духа.

Наступил день, когда, пошарив рукой в тумбочке, я обнаружил там полное отсутствие надежд на очередную пачку пельменей. Тогда я подошел к столу, ткнул пальцем в клавишу и, не совладав с собой, метнул машинку в стену, оставив там самый глубокий след за все годы моего пребывания в этой квартире. Интересно, что удар пришелся точно в коричневое пятно на обоях, похожее по форме на Апеннинский полуостров с Сицилией и появившееся на стене давно, очень давно, еще до моего бегства в Семиюртинск. Удар пришелся, между прочим, как раз в то место, где, по всем географическим приметам, должен находиться город Катанья. Теряя металлические и пластмассовые фрагменты, машинка рухнула на пол, и тут же по батарейным трубам донесся возмущенный стук нижнего соседа, парализованного старичка. У него действует только правая рука, и он энергично пользуется ею, чтобы выразить свое негодование, если в моей квартире раздается шум. Интересно, что, когда у меня бывала Ужасная Дама, кричавшая во время предварительных ласк так, словно ей без наркоза удаляли аппендикс, лукавый паралитик никогда не колотил по трубам отопления.

Таким вот образом я остался не только без денег, но и без средств производства. Конечно, эпиграммочки можно было сочинять и без машинки, на память, но спрос на них после прокатившихся по Москве террористических разборок упал до нуля, и я снова оказался в такой же безвыходной ситуации, как после моего

жалкого возвращения из Семиюртинска. Лежа на диване без жратвы и работы, я, как это и водится меж людьми интеллигентных профессий, начал предаваться суицидальным размышлениям, то есть воображал, как, не успев повиснуть в петле, буду вызволен оттуда почтальоном, который вдруг принесет мне солидный денежный перевод за мою давнюю «Историю шинного завода», ни с того ни с сего вдруг переизданную благородным, как Робин Гуд, «новым русским», насобиравшим у пьянчуг мешок ваучеров и приватизировавшим это дымное предприятие.

Иногда я выходил на балкон подышать воздухом и высматривал местечко на газоне, которое после падения с седьмого этажа гарантировало бы мне жизнь и возможность слабо махнуть рукой в сторону примчавшейся к месту трагедии съемочной группы «Экспресс-новостей». Но в конце концов я решил остановиться на пищевом спирте «Royal». От него, как писали в газетах, ежедневно в городе помирало несколько человек. Это было заманчиво: если из трех миллионов активно пьющих москвичей в день погибает всего несколько бедолаг, то я получал гораздо больше шансов выжить, нежели при падении с седьмого этажа даже в заранее облюбованное место. Но чтобы осуществить этот мягкосуицидальный план, нужно было купить бутылку спирта. А денег-то как раз не было!

И тут я вспомнил про акции АО ДДД! Я вложил в них почти все сбережения. Эту глупость я совершил после возвращения из теплоходного круиза Москва – Астрахань, устроенного горячим поклонником моих эпиграммусечек – торговцем квартирами по кличке «Недвижимец». Он придумал замечательную вещь: находил одинокого нуждающегося пенсионера или пенсионерку, обещал солидное ежемесячное вспомоществование, а те в знак ответной признательности должны были завещать ему свою жилплощадь. В общем, ничего особенного, фантастически доходного, но бизнес тем не менее процветал, потому что благодетельствованные старички после заключения контракта помирало с какой-то несвойственной даже их преклонному возрасту расторопностью и квартиры поступали в полное распоряжение Недвижимца. Как ему удавалось регулировать смертность своих клиентов – загадка, но, думаю, дело связано с тем, что, помимо квартир, он еще приторговывал просроченными американскими пилюлями от головной боли, каковыми бесплатно снабжал своих пенсионеров. А как известно, самые головокружительные открытия происходят на стыке наук!

И вот однажды, почувствовав себя необратимо богатым, Недвижимец закупил целый теплоход, приглашал певцов, артистов, телезвезд. Меня же, грешного, выписали для того, чтобы в перерывах между эстрадными номерами я читал мои эпиграммушечки:

Налоги – несущественны,

Политика – былье,

Когда срываешь с женщины

Французское белье!

Там, на теплоходе, я познакомился с одним хмырем, который умел имитировать голоса разных знаменитостей, но его взяли только для того, чтобы он говорил голосом Недвижимцевой тещи одну лишь фразу: «Дура я коломенская...» – что вызывало феерический восторг хозяина. Голосом тещи он овладел настолько, что Недвижимец начал на него даже по-родственному покрикивать, а потом и поколачивать. В результате парень не выдержал и сошел на берег в Нижнем Новгороде. Но перед тем как сбежать, он посоветовал мне вложить деньги в акции АО ДДД. «Деньги должны работать, а не мы...» – молвил он на прощание, прикрывая здоровенный чернильный синяк под глазом – награду за подражательство. И я послушал этого идиота, чтоб ему всю оставшуюся жизнь подражать реву довоенного унитаза: АО ДДД оглушительно лопнуло, снова сделав меня нищим. Но об этом как-нибудь потом...

Когда я совсем уже отчаялся и стал поглядывать на многочисленных столичных нищих с полупрофессиональным интересом, вдруг позвонил Недвижимец. У него были серьезные неприятности со здоровьем: с похмелья, по ошибке, он принял американскую пилюлю от головной боли, к счастью, только одну – это его и спасло. На радостях Недвижимец решил отметить свой день рождения на Сицилии, куда и звал меня, обещая хороший гонорар. Замирая от счастья, я выдержал паузу и тут же согласился.

В Катанье я практически ничего не делал, шатался по городу, пил дешевое итальянское винишко, купил себе на меркато, проще говоря, на толкучке, пиджак и несколько хороших рубашек. Выступить мне пришлось один только раз во время прощального обеда, накрытого персон на сто в роскошном загородном ресторане под старинным акведуком. Наши мафиози, слетевшиеся отовсюду, чтобы поздравить новорожденного, громко ржали над моими

эпиграммусечками. Но итальянские коллеги только улыбались для приличия, хотя переводил им доктор филологических наук из МГУ, лучший знаток Габриэля Д'Аннунцио, специально привезенный по такому случаю. Причем за перевод дюжины эпиграммусечек, признался он, пьяно плача на моем плече, ему заплатили в несколько раз больше, чем за всего Д'Аннунцио, которого он, бедняга, переводил двадцать пять лет! Из итальянцев оценил мое творчество только директор библиотеки Катаньского университета. Он подошел ко мне и через жалобно всхлипывающего переводчика сообщил, что как раз готовит антологию современной российской поэзии и обязательно включит меня в нее, поставив между Евтушенко и Пушкиным. После такого заявления каждый итальянский мафиози счел своим долгом пожать мне руку, ибо директор библиотеки, как оказалось, и был крестным отцом. Растроганный таким признанием со стороны местной элиты, Недвижимец заплатил мне в полтора раза больше, чем обещал, и я обрадованно смекнул, что смогу купить еще и новую машинку, электрическую. Кроме того, мой расщедрившийся наниматель вручил мне обратный билет бизнес-класса, а сам остался еще на недельку, чтобы ознакомиться с тонкостями решения жилищного вопроса на Сицилии. Его гости разлетелись кто в Штаты, а кто на Канары. Переводчик Д'Аннунцио, протрезвев, устроился ложкомоем в тот самый ресторан под акведуком. Вот почему в Москву я возвращался, одиноко прихлебывая из пластмассового стаканчика «Смирновскую» и заедая ее оливочками, фаршированными анчоусами.

Я снова поглядел в иллюминатор и принялся старательно думать, с чем еще можно сравнить видневшуюся далеко внизу землю. Но безрезультатно... Наверное, я даже чуть-чуть вздремнул: в голове воцарилась нежная многозначительная невнятица. Очнулся я оттого, что кто-то грубо взял меня за плечо. Я открыл глаза и увидел его. В нацеленном на меня взгляде было столько ненависти, что ее вполне могло хватить на геноцид какого-нибудь малого народа...

– Здравствуй, сволочь! – произнес он. – Вот мы и встретились. Теперь тебе точно конец.

Он стоял около моего кресла и смотрел на меня так, как, наверное, мясник с ярко выраженными садистскими наклонностями смотрит на юного, еще ничего не знающего о бараньих отбивных ягненка. Он почти не изменился: у него было все то же усеянное веснушками круглое лицо, румянец во всю щеку, рыжие, завивающиеся на лбу колечками волосы и большие голубые глаза. Только

смотрели они на меня не с прежней простодушной доверчивостью, а с холодной враждебностью. И одет он был тоже не как прежде: вместо экзотического, придуманного мной наряда гения, вышедшего из таежной деревни Щимыти, на нем красовался отличный двубортный костюм, переливающийся, как нефтяное пятно на воде. Хорош был и дорогой галстук цвета кинжального удара.

- Не узнал, что ли? - спросил он, скривив губы в беспощадной усмешке.

- Узнал, - прошептал я. - Чего ты хочешь?

- Хочу набить тебе морду!

- И только?

- Только для начала, потом я тебя просто убью!

- А за что?

- Ты меня об этом спрашиваешь?

- Тебя...

- Сам знаешь, котяра! Франкельштерн стоптанный!

Пассажиры заинтересованно посмотрели на нас.

- Франкенштейн, - автоматически поправил я.

- Хватит меня учить! Научил уже один раз... На весь мир чуть не опозорил!

- Я хотел как лучше! - Мне удалось придать своему голосу неправдоподобную искренность.

- А получилось как всегда! Не вари козла! Я для тебя всю жизнь был кроликом Павлова...

- Собакой... - снова поправил я и похолодел.

- Вот-вот - собакой! Я всегда это чувствовал! Пойдем выйдем! - Он схватил меня за шиворот.

Пассажиры уже перешептывались, вникая в драматургию назревающего мордобоя.

- Это самолет - тут нельзя драться... - возразил я.

- А кто тебе сказал, что мы будем драться? Я просто откручу тебе голову! Очень тихо... Пошли!

- Все равно нельзя: можно нарушить балансировку центрирующей оси крылоподъемной конструкции! - выпалил я первую пришедшую в голову чепуховину.

- Не глупее некоторых. Сам знаю. Я тебя в аэропорту приблю. Готовься!

И тут в воздухе снова запахло парфюмерией. Я давно заметил: насколько мужчины, носящие униформу, привержены к крепким напиткам, настолько женщины, находящиеся при исполнении, склонны к крепким духам. (Хорошее наблюдение. Запомнить!)

- Освободите проход! - потребовала стюардесса, подкрепляя свои слова суровой вставной улыбкой. - Сейчас вам будет предложена горячая пища.

- Что ж, я с человеком поговорить не имею права? - спросил он, предусмотрительно отпустив мой ворот и даже по-приятельски взъерошив мне волосы на затылке. - Я, может, старого друга встретил. Восемь лет не виделись! Я, может, его обнять хочу!

- Люди поедят - тогда обобнимайтесь! - отрезала бортпроводница.

Он посмотрел на меня с многообещающей ненавистью, повернулся, и его широченная спина двинулась по салону самолета, точно поршень. Перед тем как скрыться за занавеской, отделявшей бизнес-класс от экономического, он

обернулся и показал мне огромный кулак, суливший, по меньшей мере, обильное кровотечение и множественные переломы. Конечно, рано или поздно это должно было случиться. За все приходится платить. Рано или поздно придуманная и выпущенная в мир тварь задушит своего Франкенштейна, а Галатея наставит Пигмалиону рога. Собственно, с этих чертовых маральных рогов все и началось...

Стюардесса вынула из металлического ящика на колесиках пластмассовый поднос с сиротской аэрофлотовской снедью и поставила передо мной на откидной столик:

- Приятного аппетита! Пива не желаете?

- Что? Нет... Нет-нет! - вздрогнул я всем телом.

2. В начале было пиво

Нет, не с маральных рогов - все началось с пива! Я очень хорошо помню тот день. Год тоже легко вспомнить: шли первые месяцы горбачевской перестройки, когда слов было уже много, а пива еще мало, и если в писательский клуб завозили свежее «Жигулевское», то за столиками делалось шумно и свободомысленно. Да и время наступило замечательное: нашему доверчивому народу уже дали в ручонку погремушку гласности, но пока еще не отняли от материнской груди социализма. Впрочем, нет! Началось это чуть раньше, как раз накануне гласности. Ну конечно, как можно перепутать? Ведь и гласность хренова началась именно с этой истории, с моей давней непростительной глупости.

Дело было так. Стас Жгутович, Арнольд и я сидели в Дубовом зале Дома литераторов и пили пиво с раками, которые в ту пору, если говорить о Москве, водились только здесь да еще иногда в Доме журналистов. Арнольд все время порывался выставить на стол бутылку настойки из маральных рогов. Ибо она, как, смеясь в бороду, объяснял он, - лучшее средство от рогов супружеских.

И вообще у них в Сибири такую настойку зовут «амораловкой» - за ее необоримо возбуждающее действие. А недавно, например, пробную партию «амораловки» закупили совсем уж почти невозмутимые финны и просто с ума посходили.

Арнольд, почуяв выгоду, начал хлопотать об организации производственного кооператива – их как раз только-только разрешили постановлением ЦК КПСС.

– Взъерошимся, мужики! – предложил Арнольд, заманчиво подмигивая.

Но мы, сосредоточившись на пиве, разрешили ему выставить только литровую банку соленых рыжиков, которые идут с «Жигулевским» еще лучше раков. Деморализовав нас рыжиками, он наконец сделал то, от чего мы удерживали его весь вечер: начал нам рассказывать сюжет своего нового романа. Подробностей я, конечно, уже не помню, но суть такова: один таежный охотник по имени Альберт выслеживает и убивает самку рыси, чтобы сшить шапку любимой женщине. И тут-то начинается самое главное. Лишившись подруги, самец принимается мстить за свое порушенное звериное счастье и преследует охотника аж до самого Красноярска, где и загрызает его насмерть возле мехового ателье, куда Альберт пришел, чтобы получить уже готовую шапку. Мстительного самца отстреливает случившийся поблизости милиционер. Он вместе с шапкой приносит страшное известие любимой погибшего промысловика. И остаются на свете две одинокие, лишившиеся своих мужчин самки – одна в виде женщины, другая в виде шапки...

– Ну как? – спросил Арнольд, заранее скромно потупив глаза.

– Говно! – выпалил я, чтобы опередить какую-нибудь чудовищную бестактность со стороны Жгутовича и не слишком огорчить самолюбивого провинциального автора.

– За что ж вы здесь, в Москве, так Сибирь не любите? – задумчиво поинтересовался Арнольд.

– Ты Мелвилла хоть читал? – тяжелым от пива голосом спросил Стас.

– Не довелось.

– Когда доведется, обрати внимание: у него там кит за мужиками гоняется... «Моби Дик».

– Так то ж кит!

– А у Распутина медведь тоже одного мужика выслеживает, – добавил я.

– Так то ж медведь, – не сдавался Арнольд, – у меня-то – рысь! А про шапку у них там есть?

– Про шапку у них там нет, – покачал головой Жгутович, – но на аллюзиях далеко не уедешь!

Арнольд затих, видимо, прикидывая, далеко ли можно уехать на аллюзиях, а главное, соображая, что это такое – аллюзия. Спорить со Стасом он даже и не пытался, потому что Жгутович был человеком угнетающе начитанным, да и работал в букинистическом магазине «Книжная находка», что на Лубянке, рядом с памятником первопечатнику Ивану Федорову. Стаса знала вся литературная Москва, так как он помогал писателям в обстановке жестокого книжного дефицита доставать редкие и идеологически неоднозначные издания. Он бы мог озолотиться на этом деле, но у него была одна пагубная и неизлечимая болезнь. По сравнению с ней наследственный алкоголизм с запоями и галлюцинациями – всего лишь легкое недомогание. Он писал стихи. Отвратительные, как утренний остаток макияжа на лице нелюбимой женщины. По этой печальной, но уважительной причине книги писателям он доставал задаром, рассчитывая, что они в знак ответной признательности порекомендуют его произведения в какой-нибудь популярный журнал. Однако чаще всего, получив искомую книгу, вероломный писатель в ответ на просьбу «поддержать» начинал морщить лоб и, полистав Стасовы стихи, бормотал что-то про пока не обретенный еще автором консенсус между экзистенцией и поэтическим инобытием логоса... В переводе на обычный язык это означало следующее: хоть ты, Стасик, и хороший парень, но твое плохо прорифмованное дерьмо порекомендовать куда-нибудь очень сложно, разве что ты достанешь мне собрание сочинений Арцыбашева. А когда, достав наконец Арцыбашева, да еще комплект романов Ренье в придачу, Жгутович заводил речь о том, что стихов у него набралось уже на три сборника, а поэт без книги – как Париж без Сены, ему начинали бормотать что-то о судьбе как формообразующем факторе творчества...

Так бы Стас и мучился до пенсии, но однажды случилось невероятное: какой-то бомжеватого вида мужичок приволок в магазин здоровенный том «Масонской энциклопедии», изданной перед самой революцией. Это была немислимая удача, ну, как если б сегодня кто-нибудь нетрезвый притащил вам мешок платиносодержащих радиодеталей и попросил за это пятьдесят долларов. Мужик опасливо запросил пятьдесят рублей. Стас великодушно заплатил за

«Масонскую энциклопедию» червонец из собственного кармана, и доходяга был счастлив, ибо пребывал в том специфическом состоянии, когда за стакан портвейна можно продать себя на галеры. Конечно, Жгутович сразу понял, что наступил его звездный час и что теперь или никогда он станет наконец автором книги стихов, без которой поэт – как Лондон без Темзы. Слух о «Масонской энциклопедии» разнесся по литературной Москве с эпидемической скоростью. К магазину возле памятника Ивану Федорову потянулись, как волхвы к Христу-младенцу, писатели: всем хотелось завладеть уникальной энциклопедией и проникнуть в тайну великого закулисья, в тайну, по сравнению с которой марксизм – детская сказка про Шалтая-Болтая. Но их ожидало суровое встречное предложение: Стас, как вы уже, наверное, догадались, решительно требовал в качестве вознаграждения издать его собственную книжку и не торопился расставаться с «Масонской энциклопедией», дожидаясь надежного соискателя, безотказного, как автомат Калашникова. Ошибиться Жгутович не имел права. Это теперь, когда хрупкий скелет нации хрустнул в объятиях капитализма, ты можешь прийти, заплатить, и твоя книга, состоящая, допустим, из альковных прозвищ, какими одаривали тебя женщины, будет мгновенно издана. Но тогда... Тогда на каждого, кто приходил в издательство с рукописью, смотрели так, точно это был маньяк, сбежавший из психушки вместе со своей историей болезни, каковую теперь и просит опубликовать, да еще собирается получить за это гонорар.

А чтобы до конца стало ясно, сквозь какие тернии приходилось продираться стихотворной строке на пути от первой гримасы вдохновения на лице поэта до пахнущего свежей типографской краской сигнального экземпляра, я должен рассказать, как была издана моя первая и единственная книжка. Случилось это только благодаря тому, что, разведясь в один прекрасный день с женой и разменяв нашу общую жилплощадь, я стал обладателем однокомнатной квартирki на улице Командарма Тятинa (ныне 2-я ВздЫбленская) в панельном доме, построенном в семидесятые годы. Эти облупившиеся белые многоэтажки в центре Москвы напоминают мне сломанные холодильники, завезенные дачниками в лес и там брошенные... (Неплохо. Запомнить!)

Почему я развелся с женой, вопрос неясный, пожалуй, даже более неясный, чем вопрос, почему я на ней женился. Она была миловидной, пухленькой дамой, неплохо готовила, изъяснялась на литературные темы и изнурялась аэробикой. По вечерам мы лежали в постели и, прежде чем заняться любовью, читали: я – стихи какого-нибудь просочившегося на журнальные страницы мерзавца, она – «Здоровье». Сигналом к переходу от чтения к уныло-вазелиновому интиму обыкновенно служило нажатие кнопки ночника. Заметив, что моя рука

потянулась к выключателю, она поворачивала ко мне свое густо смазанное ночным кремом лицо и говорила: «Подожди, милый, я дочитаю страницу!..» По утрам жена ходила на стадион (он был виден из нашего окна) и для поддержания фигуры делала несколько кругов по гаревой дорожке. И вот однажды, прихлебывая кофе и наблюдая через стекло, как она движется по терракотовому ободку зеленого поля, я неожиданно подумал о ней как об искусственном спутнике, который может в любой момент сорваться со своей орбиты и навсегда исчезнуть в вечной космической мерзлоте.

Через два месяца мы развелись. К этому времени я еще не опубликовал ни одного своего стихотворения и на жизнь зарабатывал тем, что, во-первых, служил корреспондентом в многотиражке «За образцовый рейс» 4-го автокомбината, а во-вторых, тем, что писал стихотворные пионерские приветствия и юбилейные истории фабрик и заводов. По сему поводу, уже собирая мои вещи, жена заметила, что это чисто русская традиция: нестреляющая Царь-пушка, незвонящий Царь-колокол и непечатающиеся поэты...

Получив после размена в полное свое распоряжение однокомнатную квартиру, я поначалу и не сообразил, что таким образом обеспечил себе литературное будущее. Я просто наслаждался полузабытым счастьем безотчетного одиночества. Девушки у меня, конечно, бывали, но не так уж часто, ибо свобода настраивает мужчину на философский лад и делает гурманом. Измена в браке – это нечто профилактическое. Если б адюльтер входил в ежеквартальную медицинскую диспансеризацию, думаю, большинство мужей бросили бы заниматься этой чепухой...

Жизнь моя изменилась внезапно. Однажды я притащил к себе домой критика Закусонского. Притащил в буквальном смысле слова, ибо в этот день он получил авансы за положительную рецензию, а также за два упоминания в обзорной статье – и поэтому был просто не в состоянии добраться до дома. Пробудившись утром, Закусонский обполз мою квартиру оловянным взглядом и полувопросительно простонал, так как на полноценный вопрос сил не было:

– Где я?

– У меня.

– А разве ты один живешь? – удивился он.

Мне показалось, что это эмоциональное усилие будет стоить ему жизни, и я достал из холодильника бутылку пива.

– Теперь вот один...

– Невероятно! – задохнулся он то ли от изумления, то ли от спасительного глотка.

– Что – невероятно?

– Ты живешь один и еще ни разу нигде не печатался?

– Ни разу.

– Невероятно...

Через несколько дней ко мне подошел толстенький поэт, работавший в молодежном журнале.

– Ну ты не прав! – укорил он меня, хлопая по плечу, хотя до этого никогда со мной даже не здоровался. – Неси срочно! Штук пять. Одно – за Советскую власть. Остальные можешь за...

И он ввернул расхожее матерное словцо, обозначающее примерно то же, что в его собственных стихах, неплохих, кстати говоря, обозначало словосочетание «мохнатая роза любви». Несколько дней я мучительно составлял подборку, а потом, специально купив для машинки свежую ленту, тщательно перепечатывал стихи, комкая и бросая в корзину листы, даже если в них была одна-единственная опечатка... Он принял меня в своем заваленном рукописями кабинете, взял мою подборку и не глядя сунул в братскую усыпальницу пыльных манускриптов.

– Жди! – сказал он.

Ждать пришлось недолго. Вскоре он заявился ко мне с длинноногой юной поэтессой, годившейся ему в дочери. Стоя рядом, они напоминали персонажей сказки «Пузырь и соломинка». Мы выпили, поговорили немного о поэзии, а потом он стал, по-рачьи вращая глазами, показывать мне на дверь моей собственной квартиры. На всякий случай я оставил на кухонном столе склянку сердечных капель и ушел в ночь, каковую и провел на лавочке зала ожидания Ярославского вокзала. Воротившись утром, я нашел валокордин нетронутым, зато из холодильника бесследно исчезли килограмм вареной колбасы и фрукты. С тех пор он стал появляться у меня довольно часто, и благодаря этому я в сжатые сроки достаточно близко смог познакомиться с цветом молодой женской поэзии. Должен заметить, среди всех этих девиц были не только длинноногие, но также и литературно небезнадежные особы. Некоторые из них по протоптанной дорожке потом не раз заглядывали ко мне и без него, объясняя, что после этого пузыря им хочется чего-то мужского – как по форме, так и по содержанию.

Мои стихи он напечатал ровно через год, а критик Закусонский, тоже однажды затащивший ко мне какую-то очкастую гримзу в спущенных чулках, тиснул в «Литературном еженедельнике» теплую рецензию под названием «И половодье чувств...». К тому времени ко мне уже заходили несколько сотрудников толстых журналов, заместитель заведующего отделом центральной газеты, три радиокорреспондента и звукооператор с телевидения. Пришлось составить жесткий график, передружиться со всеми бомжами и постовыми милиционерами Ярославского вокзала, но зато мои стихи периодически появлялись в печати, звучали по радио, а однажды я даже возник на телеэкране в передаче «Рабочий полдень», где среди станков читал свои произведения рабочим завода «Электролит», тосковавшим об испорченном обеденном перерыве.

Наконец случилось то, что должно было случиться: мне позвонил важный человек из солидного издательства и сказал довольно хмуро, что хотел бы посмотреть рукопись моих стихотворений и если она удовлетворяет тем высоким требованиям, которые предъявляет издательство к своим авторам, то, вероятно, можно будет попытаться подумать о перспективе издания книги. Замирая от счастья, я спросил, когда можно привезти рукопись. «Я сам приеду», – был ответ.

Он приехал в тот же вечер в сопровождении трех совершенно пьяных девиц легкого поведения, которые начали раздевать его, даже не дождавшись моего ухода. Увидев, как я заторопился к двери, он дружески махнул мне волосатой рукой и великодушно пригласил: «Вали к нам до кучи!» Но я, забормотав что-то

про внезапно заболевшую бабушку, отклонил приглашение, ибо барахтаться голышом в куча-мала с незнакомыми девицами и пузатым полузнакомым дядей – это никакой не групповой секс, а самый настоящий разврат!

С появившейся перспективой издания книги график посещения моей несчастной квартиры стал настолько жестким, что мне иной раз приходилось снимать койку у старушки в доме напротив, потому что спать на вокзальных лавках жестко, и к тому же я стал простужаться от сквозняков. Кроме этого, вышло постановление о борьбе с бомжами и прогульщиками. И в результате меня однажды забрали в милицию, но отпустили после того, как я объяснил начальнику отделения, что являюсь поэтом, а в доказательство спел песню на стихи Есенина. Я даже не мог пригласить к себе домой Анку, и, чтобы совпасть в желаниях, приходилось тащиться к ней на дачу в Перепискино.

Но вот вышла моя книжка. Я вдохнул свежий запах типографской краски. Прочитал ее от начала до конца сперва очень быстро, а потом еще раз, очень медленно, и понял, что стихи мои не то чтобы плохи, нет, они даже по-своему хороши, однако устраивать из квартиры общегородской бордель, снимать койку у старушки только ради того, чтобы увидеть их набранными и сброшюрованными в тонкую книжицу, не стоит. Конечно, искусство всегда требует жертв, но только гении и кретины приносят ему человеческие жертвы. (Неприменно запомнить!) Не будучи первым и не желая стать вторым, я объявил всем посетителям, что лавочка закрывается, и перевез пожитки от старушки назад в свою квартиру, которая за два года настолько пропахла потом сладострастия и прочими сопутствующими ароматами, что срочно пришлось делать ремонт. На это ушел почти весь гонорар за книжку.

Кстати, мне всегда казалось, что, если у меня выйдет книжка, моя жизнь совершенно изменится – я даже по улицам начну ходить по-другому, а прохожие станут смотреть на меня совсем иначе... Ничего подобного. Никто даже не заметил. И только критик Закусонский, встретив меня в ЦДЛ и радостно боднув головой в плечо, поздравил с выходом сборника, но заломил за рецензию такую несусветную цену, что я, потратившись перед этим на ремонт, вынужден был отказаться.

Еще вдруг позвонил Костожогов. Я как раз лежал под одеялом и с нетерпением ждал, когда Анка выйдет из ванной.

– Поздравляю! – сказал Костожогов.

- Вам понравилось? - встрепенулся я.

- Вы - человек способный. Я вам уже это говорил. Но ведь первая книга - это всего лишь повод подумать, стоит ли писать дальше.

- Спасибо, я подумаю...

В это время из ванной вышла Анка. Она всегда превращала свой выход в маленькое эротическое представление, а в тот день изображала как будто бы японку и, плотно обернувшись большим полотенцем, шла ко мне, по-восточному семеня ножками. На середине комнаты тяжелое махровое «кимоно» вдруг распалось и обрушилось на пол...

- Нет, в самом деле, в книге есть несколько вполне профессиональных стихотворений, - продолжал Костожогов, - но профессионализм в литературе - то же самое, что хорошее пищеварение. Весь вопрос - для чего! Помните, я говорил вам о трех путях? Похоже, вы об этом даже не думали. О выборе вы еще и не размышляли...

- Простите, что вы сказали? - переспросил я.

Анка уже забралась под одеяло и отвлекала меня от разговора самым изощренным образом.

- Вы заняты? - смутился Костожогов.

- Чуть-чуть, - ответил я, изнывая. - Я вам перезвоню...

- Мне некуда перезванивать. Лучше приезжайте ко мне как-нибудь в Цаплино. Поговорим. Почтаете стихи моим ученикам. Дети - замечательные критики! Адрес вы мой не потеряли?

- Нет, - соврал я.

- Приезжайте! Буду ждать.

И Костожогов повесил трубку. А Анка вдруг выбралась из-под одеяла и стала молча одеваться.

- Ты куда?

- Надоело, - ответила она.

Но я ее умолил - и Анка осталась. Окончательно мы поссорились месяца через два.

Больше по поводу книжки мне никто не звонил, хотя телефон не умолкал: мои благодетели, оставшись без квартиры, требовали, убеждали, даже угрожали... Они просили меня принести стихи, уверяя, будто без них взыскательный советский читатель просто не находит себе места, а литературный процесс неумолимо оскудевает, но я вежливо отнекивался, ссылаясь на глубокий творческий кризис и на не очень удачные попытки перейти со стихов на прозу. Причины были уважительные, и несколько дней мой телефон молчал. Но потом на меня вышел заведующий отделом прозы толстого журнала и решительно объявил, что не успокоится, пока не получит от меня повесть или в крайнем случае рассказ! Тогда я позвонил на АТС и попросил отключить на время мой телефон.

- Не положено! - ответили мне. - Вот если б вы не оплатили межгород - тогда другое дело.

- Девушка, я вас прошу!

- И не просите!

- А вам кто-нибудь говорил, что у вас голос, как у Софи Лорен?

- Не-ет! - потеплел голос.

Вообще-то я слухавил: тембр у нее был не как у Софи Лорен, а как у нашей отечественной актрисы, всегда дублирующей эту кинозвезду. Но телефон она, подобрав, отключила. Тогда издатели, страстно желая меня опубликовать, стали звонить в дверь, даже присылали телеграммы, но в конце концов все-таки

успокоились, а следом за ними потерял ко мне интерес и взыскательный советский читатель. Но пора вернуться в ресторан Дома литераторов к пиву и рыжикам...

3. Спор книгопродавца с поэтом

Мы тихо допивали пиво и доедали рыжики. Официантка уже четыре раза уносила с нашего стола пустые бутылки. Дело шло к вечеру. Зал ресторана постепенно наполнялся. Пришел и в ожидании клиентов, как часовщик-починщик, занял свое место в уголке критик Закусонский. Если прежде, увидев меня, он вскакивал, подбегал, обвивался руками вокруг моей шеи и, ласково боднув лбом в плечо, говорил: «Ну, здорово, старый!» – то теперь лишь приветствовал усталым полузакрытием глаз.

Следом возник поэт Одуев. Сегодня он был не со своей обычной подружкой-телевизионщицей Стеллой, а с какой-то длинноногой малолеткой. Пристально оглядев зал и дружески кивнув мне, он заказал ей мороженое и стал читать, громко завывая, стихи, а она смотрела на него с тем слепым обожанием, с которым смотрела бы, наверное, меломанка на свинью, запевшую голосом Паваротти.

В окружении стайки западных журналистов явился поужинать прозаик Чурменяев, автор знаменитого романа «Женщина в кресле», где описывается, как некая дама, раскоряченная в гинекологическом кресле, пытается найти в себе Бога. Этот роман он сочинил лет десять назад, будучи еще сущим юношей. Замысел, как сам автор рассказывал в одном из интервью (я слышал по радио «Свобода»), пришел ему в голову, когда он вдруг вообразил себе Настасью Филипповну на приеме у гинеколога. Закончив роман, Чурменяев тут же с оказией отправил его в нью-йоркское издательство. Среди интеллектуальной части золотой молодежи это называлось тогда «рискнуть отцовским партбилетом». Отец его был крупным руководителем среднего звена и к тому же сыном классика детской литературы. Однако ничего не случилось: благополучно миновав бдительную таможду, сначала в одну, а потом и в обратную сторону, рукопись воротилась назад с кисло-сладкими замечаниями по поводу несомненного таланта автора и еще более несомненной ненужности этого произведения взыскательному американскому читателю. Чурменяев озлился, но

не отчаялся: пользуясь любой тайной оказией, он рассылал рукопись романа в разные страны, но с тем же результатом. Так продолжалось несколько лет. И вот как-то раз один тертый диссидент по фамилии Пыльношлемов, общеизвестный несколькими грамотно организованными скандалами, посоветовал Чурменяеву вложить в папку с рукописью сотню-другую незадекларированных долларов. Это помогло: первый же таможенник зеленые, конечно, конфисковал, а с ними и рукопись. Автора срочно вызвали в Союз писателей, мгновенно выдали ему писательский билет (обычно этот процесс занимает у молодого литератора от пяти до двадцати лет жизни), а через неделю Чурменяева с треском исключили из Союза писателей в назидание всем прочим, предпочитающим западных книгоиздателей отечественным. Заодно сняли с должности и Чурменяева-старшего, дабы руководители среднего звена серьезнее относились к воспитанию подрастающего в их спецквартирах молодого поколения...

Так Чурменяев-младший однажды проснулся знаменитым и упоительно гонимым. Полосы западных газет пестрели заголовками: «Опять – 1937!», «Новая жертва Бабьего Яра?», «Чурменяев против КГБ»... Все издательства, которые когда-то отклонили роман «Женщина в кресле», тут же завалили автора телеграммами с предложениями самых выгодных контрактов. Его книга вышла почти одновременно в двадцати семи странах, а обозреватель влиятельнейшего американского еженедельника «Book magazine» назвал свою рецензию «Чурменяев – Достоевский сегодня». Зацеписто, конечно, но других русских писателей он просто не знал. В КГБ сформировали специальную оперативную группу под кодовым названием «Гинеколог» исключительно для контроля за писателем Чурменяевым. Во главе группы поставили генерал-лейтенанта, знавшего папашу проштрафившегося литератора по совместной охоте.

С тех пор автор знаменитого романа всюду появлялся в окружении западных журналистов, а на почтительном расстоянии от них следовали сотрудники КГБ из «наружки». Генерал-лейтенант и Чурменяев-старший продолжали ездить вместе на охоту и по ночам у костра, наевшись медвежьего шашлыка, обсуждали, как ловчее вернуть блудного сына в лоно советской литературы. Когда благодаря мне началась гласность и слежку за Чурменяевым прекратили, к нему подошел человек в штатском и, представившись заместителем начальника оперативной группы, смущенно попросил для личного состава надписать несколько экземпляров романа, только-только переизданного «Посевом». Но не буду забегать вперед...

Итак, мы допили пиво, и я предложил заказать еще несколько бутылок, но денег у нас со Стасом больше не было.

– М-да... – сказал Арнольд, выгребая из карманов последнюю мелочь. – Сволочи вы тут в Москве-то!

– Почему сволочи? – вяло любопытствовал я.

– Все соки из России выпили...

– А что ж, Москва не Россия, по-твоему? – заступился за столицу Стас.

– Нет, не Россия. Москва – желвак на здоровом теле нации, – отозвался Арнольд, тяжело вздохнув.

Он уже несколько раз пробовал перебраться в столицу, печатал объявления в разделе «Междугородный обмен», даже фиктивно женился, но девица деньги-то взяла, а потом выяснилось, что она и сама лимитчица, прописанная в городе Орле. Пришлось разводиться...

– Москва – джунгли, – продолжал Арнольд, – другое дело – тайга! Я, мужики, когда белке в глаз попадаю, ощущаю то же самое, если рифму хорошую нахожу...

Мы со Стасом деликатно переглянулись: Арнольд работал корреспондентом в газете «Красноярский зверовод» и белок, судя по всему, видел только в клетках.

– А бывалоча, – не унимался Арнольд, – сидишь у костерка, полешки-то потрескивают, искорки в небо сигают, а на душе так хорошо, так стихоносно... И строчки даже не сочиняются, а всплывают из сердца, как жуки-плавунцы из придонной травки. Я хоть и прозу пишу, а вот тоже недавно сочинил. Сейчас... обождите... Ага...

Арнольд профессионально помертвел лицом, вспоминая строчки. Стас и я снова переглянулись и безмолвно договорились не повторять той ошибки, которую давеча допустили с сюжетом Арнольдова романа. Если поэт, неважно – столичный или провинциальный, прочтет за столом хотя бы одну свою строчку,

он уже не остановится, пока не вывалит вам на голову весь накопившийся в его душе стихотворный мусор. Такие поползновения нужно давить в зародыше.

- Ага, вот-вот... - Лицо Арнольда начало угрожающе оживать.

- А вот я, - Стас резко перехватил инициативу, - когда гляжу на пыльные ряды книг в магазине, чувствую себя мальчишкой, вознамерившимся ублажить ненасытное лоно Астарты...

- Кого? - огорченно переспросил Арнольд, еще надеясь, что почитать ему все-таки дадут.

- Та-ак, баба одна... - пояснил высокомерный Стас. - Нам страшно не повезло: мы живем в эпоху перенасыщенного культурного раствора. Тут недавно ко мне в магазин Любин-Любченко заходил - рассказывал. Это его теория. Чтоб ты, Арнольд, понял, получается эдакая двойная уха!

- Как не понять! - закивал Арнольд.

- Мы с вами жертвы набитых книжных полок, - вздохнул Жгутович, видимо вспомнив о своем не изданном до сих пор сборнике.

- Жертвы, - согласился Арнольд. - У меня об этом в романе тоже есть...

- Я даже не представляю, - не уступал Стас, - что сегодня нужно написать, чтобы тебя услышали?!

- Я вот недавно написал! - не унимался и Арнольд.

- Ничего писать не надо, - подыграл я Жгутовичу. - Текст не имеет никакого значения.

- Абсолютно никакого, - согласился Арнольд. - Я вам сейчас об этом рассказ прочитаю!

- Что значит - не имеет значения? - не понял Стас.

– А то и значит: можно вообще не написать ни строчки и быть знаменитым писателем! Тебя будут изучать, обсуждать, цитировать... – развил я эту внезапно пришедшую мне в голову мысль.

– Цитировать? – переспросил Стас.

– Да, цитировать! – не отступал я, ибо пиво в больших количествах делает человека удивительно упрямым.

– Нонсенс!

– Чего? – не понял Арнольд.

– Вы, конечно, можете меня спросить, – все более воодушевляясь, продолжал я, – почему у классиков все-таки есть тексты? Отвечаю: потому, что они были в плену профессиональных условностей: портной должен шить, столяр – строгать, писатель – писать! Допустим, ты не читал Шекспира, а это, в сущности, равносильно тому, как если б он ничего не написал. Но ведь Шекспир все равно гений!

– Все равно, – согласился Арнольд.

– Софистика! – ухмыльнулся Стас.

– Чего? – не понял Арнольд.

– Нет, не софистика, – настырно возразил я. – Софистика – обман ума, рассыпающийся при первом столкновении с действительностью. А я могу доказать свои слова на практике. Я готов взять первого встречного человека, не имеющего о литературе никакого представления, и за месяц-два превратить его в знаменитого писателя!

– Нонсенс! – замахал руками Стас.

– Чего? – снова переспросил Арнольд.

– Фигня! – уточнил Жгутувич.

– Ах, фигня! – возмутился я, и кровь с пивом бросились мне в голову. – Готов поспорить: первого встречного дебила за два месяца я сделаю знаменитым писателем, его будут узнавать на улицах, критики станут писать о нем статьи, и вы будете гордиться знакомством с ним!

Несмотря на решительную интонацию, все это было сказано мной, конечно же, в риторическом порыве и с оттенком явного алкогольного романтизма. Но Стас рассудил иначе.

– На что спорим? – деловито усмехаясь, спросил он.

– В каком смысле? – не понял я.

– В прямом. Ты предлагаешь спорить? Я готов. На что спорим? Или ты испугался?

– На что угодно! – ответил я, заводясь.

– И этот твой дебил не напишет ни строчки? – издевательски уточнил Жгутович.

– Он вообще может быть неграмотным! – небрежно бросил я.

– Нонсенс! – сказал Арнольд.

– Хорошо. Если ты проиграешь, а это неизбежно, то я буду по первому звонку в любое время пользоваться твоей квартирой! Идет? – оживился Жгутович.

Тут я должен снова сделать пояснительное отступление. Дело в том, что Стас по натуре бабник-тихушник, а книжная пыль к тому же, как я где-то прочел, чрезвычайно стимулирует женолюбие. В Италии, например, ослабшим мужчинам врачи даже рекомендуют чаще бывать в библиотеке. Однако Стасу очень не повезло с женой: она у него из кубанских казачек – ревнива до умоисступления и не только лазает по карманам, но еще ежевечерне тщательнейше осматривает его одежду в поисках приставших дамских волос и даже обнюхивает на предмет внебрачных запахов. Однажды она до полусмерти отходила Стаса чугунной сковородкой за то, что от его майки тянуло «Диором». И только потом, отходив и немного отойдя, вспомнила, как сама же и побрызгалась этими духами, когда заезжала к подружке за выкройками. Кроме всего, жена звонит ему на работу

через каждый час – проверяет, а в девятнадцать ноль-ноль неукоснительно встречается его на пороге магазина с полными сумками продуктов, каковые он и тащит на себе домой – в Теплый Стан.

Ясное дело, Стас не мог себе позволить даже самые невинные мужские удовольствия, а в тот памятный вечер он оказался в ресторане нашего клуба только потому, что после обеда должен был ехать на курсы повышения квалификации продавцов-букинистов, но занятия отменили из-за болезни лектора, о чем, естественно, он жену в известность не поставил. Но такие подарки судьба подкидывала ему нечасто. Сам он свою жизнь называл добродетелью строгого режима. А ведь в нем, как в каждом мужчине, тоже кипели страсти: он влюблялся в своих постоянных покупательниц, ужасно страдал от бесперспективности, и постепенно на его лице установилось выражение застоявшейся невостребованности, которое часто путают с признаком пытливого ума. Свое сексуальное неудовлетворение Стас сублимировал в творчество, но за мелькнувший в его стихах «ласкающий пепельный локон», абсолютно вымышленный, он был жестоко избит кофеваркой. От более лютой расправы Стаса спасло то, что его жена лет десять назад, сдуру, покрасилась в какой-то пепельно-пегий цвет, о чем и вспомнила, занеся кофеварку для решающего удара... Методом жестоких проб и роковых ошибок Стас нащупал безопасную для жизни тематику. Обычно его стихи и поэмы назывались крайне филологично: «Перечитывая третью главу „Кентерберийских рассказов“, или „Модильяни пьет абсент в „Ротонде“, или „Смерть Альбера Камю в автомобильной катастрофе 4 января 1960 года“. Но надо ли объяснять, что Жгутович мечтал о большем? Вот почему моя однокомнатная квартира, расположенная в пяти минутах бега от букинистического магазина «Книжная находка», была единственным выходом из того кошмара, в котором он влачил свои половозрелые годы.

– Значит, ты будешь пользоваться моей квартирой? – игриво переспросил я.

– В любое время и в любых целях! – уточнил Стас.

– Молоток! – Арнольд хлопнул Жгутовича по плечу.

– Идет, – согласился я и сделал многозначительную паузу. – Но если ты проиграешь, то я буду в любое время пользоваться твоей «Масонской энциклопедией»!

- В каком смысле? - затомился алчный Стас.

- В прямом. Ты мне ее просто отдашь!

- Молоток! - Арнольд хлопнул меня по плечу.

На мгновение Жгутович замер, и на лице его живо отобразилась схватка скрытого сладострастия с явным честолюбием, но довольно скоро честолюбие пискнуло и подняло вверх свои крысиные лапки.

- Идет! - кивнул он. - Тем более что ты все равно не выиграешь!

- Подумай! - усмехнулся я и решил его помучить. - Ты теряешь единственный шанс. Если ты отдашь мне энциклопедию, книгу тебе никто не издаст, и взыскательный читатель никогда не сможет насладиться твоей поэмой «Иван Тургенев читает Полине Виардо фрагменты романа „Дым“.

- Романа «Новь», - обиженно поправил Стас. - Ты всегда был Терситом по натуре...

- А кто такой Терсит? - вмешался Арнольд.

- Так, мужик один, - объяснил Стас и добавил: - Я подумал. Ты никогда не выиграешь! - И он протянул мне руку.

Я протянул свою. Нет, это было не рукопожатие, а схватка двух лукавств.

- Разбей! - приказал я Арнольду.

Тот сначала решительно занес руку, но вдруг заколебался:

- Не-ет, так не пойдет...

- Почему?

- А вы мне объясните, что значит - первый встречный?

- Как - что? - пожал я плечами. - Мы выходим на улицу, останавливаем первого встречного и предлагаем ему принять участие в нашем эксперименте, - растолковал я.

- А если он отказывается? - уточнил Арнольд.

- Тогда мы останавливаем другого.

- А если и он отказывается?

- Тогда третьего - и так до тех пор, пока кто-нибудь не согласится.

- Но ведь тогда это будет не первый встречный! - логично заметил Арнольд.

- Не придирайся к словам! - заступился за меня Стас, которому уже не терпелось поразвратничать на моей жилплощади.

- Ладно, - смирился Арнольд, - в конце концов, вы спорите, а не я. Вам и расхлебывать.

- Что? - не понял я.

- Подумайте сами: а если первым встречным окажется, допустим, Франсуаза Саган? По ящику сказали: она как раз сейчас в Москве...

- Хорошо, - согласился я. - Известных людей мы отмечаем как класс!

- А если первым встречным окажется твой друган, с которым ты заранее все обшляпил? - спросил Арнольд и глянул на меня с чалдонской хитрой улыбкой.

- Ваши необоснованные подозрения мне странны! - ответил я, и, хотя у меня не было никаких жульнических планов (у меня вообще не было планов), щеки мои затеплились, как у всякого порядочного человека, заподозренного в свинстве.

- В самом деле, - насупился Стас, - я хотел бы гарантий.

- Мое честное слово для тебя не гарантия? – фальшиво, несмотря на всю чистоту своих намерений, возмутился я.

- Писатель, дающий честное слово, то же самое, что проститутка, которая клянется своей невинностью! – отрезал Жгутович.

- Как сказал! – воскликнул Арнольд, и его лицо напряглось в запоминающем усилии.

- Что ж, в таком случае наше пари расстраивается, – облегченно констатировал я.

- Вы, мужики, не расстраивайтесь, – успокоил Арнольд, глянув на часы. – Прямо сейчас должен прийти Витек, племян наш редакционного шофера. Я ему от дяди привез рыжиков, – он кивнул на пустую банку, – и бутылку «амораловки», – он показал глазами на свой рюкзачок.

- Кем он работает? – подозрительно поинтересовался Стас.

- Чальщиком.

- А что это? – продолжал допытываться Жгутович.

- Так, мужик с чалками, – ответил злопамятный охотовед.

- Образование? – не обратив на это внимания, спросил обладатель «Масонской энциклопедии».

- Ну какое образование у чальщика? Незаконченное...

- Конкретнее! – потребовал Жгутович.

- Из ПТУ за двойки выгнали...

- Очень хорошо!

– Вот вы Витька и заделайте знаменитым писателем. Он дядьке письма присылает с такими ошибками, что вся редакция гогочет. Вот вам и чистота эксперимента. А из первого встречного тебе любой дурак гения сконструит!

– Идет! – обрадовался Стас и буквально вцепился в мою руку.

Я нехотя сжал его вспотевшую от предчувствия удачи ладонь, а Арнольд, крякнув, разбил наш заклад. Отмечая заключенное пари, мы допили остатки пива и закусили по-братски последним рыжиком из дядиной банки. Арнольд пошел встречать будущую знаменитость: по его прикидкам Витек должен был уже подъехать.

– У тебя диван или кровать? – задумчиво жуя гриб, спросил Стас.

– Диван-кровать, – буркнул я, мысленно ругая себя за это дурацкое пари.

4. Простодушный

Через несколько минут он уже сидел за нашим столиком – здоровенный кудряво-конопатый парень, не знающий, куда деть свои огромные красные ручки. На нем были синие портки, которые сшившие их в городе Можайске люди почему-то поименовали джинсами, и байковая клетчатая рубаша с залохматившимися манжетами. А его башмаки, грубые строительные бахилы, удивляли взгляд бело-серыми разводами, похожими на те, что остаются на черной школьной доске, если стереть написанное мелом с помощью грязной тряпки. Зато лицо парня светилось добродушной безмятежностью: вероятно, из всех проклятых вопросов бытия его беспокоил только один – как дотянуть от аванса до полочки. И то, видимо, не очень... Я еще раз пожалел о заключенном пари.

Когда Арнольд подвел его к нашему столику, он, ужасно робея и запинаясь, представился: «Витёк». Не «Витя», не «Виктор», не «Витька», а именно – Витек. Чувствовалось, что малый впервые оказался в таком значительном месте и, чтобы не оплошать, контролирует каждое свое движение, мучительно призывая на помощь смутные образцы хороших манер, виденные в каких-нибудь фильмах про благородную жизнь, где роли столбовых дворян исполняют томные внуки

аптекарей и огородников. Когда мы пригласили его присесть за наш столик, он ответил нам коротким поклоном, которым в этих самых кинокартинах обычно заканчивают переговоры о месте поединка, секундантах и прочих дуэльных подробностях.

- Грибки-то мы с ребятами того... - виновато сообщил Арнольд, показывая пустую банку.

- Да ладно уж, - кивнул Витек и улыбнулся.

- Давайте за встречу! - предложил Стас.

- Надюха! - Я ухватил за кружевной передничек пробежавшую мимо официантку.

И тут я снова должен сделать отступление. (Между прочим, их будет впредь довольно много, поэтому читатель, любящий прямоезжие сюжеты, может сразу отложить это сочинение.)

Надюхе, самой молодой официантке в ресторане, было лет двадцать пять, и она обладала всеми тремя основными признаками женской привлекательности: большими глазами, большой грудью и большим задом. При этом фигура ее оставалась достаточно стройной, а волосы радовали взор аккуратной парикмахерской курчавостью. Судя по тому, что в течение нескольких лет она частенько появлялась на работе с тщательно запудренным синяком под глазом, Надюха была девушка замужняя. Правда, в последние несколько месяцев никаких брачных отметин на лице не наблюдалось, и это наводило на мысль, что ее супружество распалось. Более того: в карих Надюхиных глазах возникло то загадочно-задумчивое выражение, которое всегда выдает томящуюся в одиночестве женщину. Не путать с насмешливо-призывным взглядом женщины, томящейся в браке! От прочих официанток она отличалась еще и тем, что обслуживала быстро, грубила вполсилы, а обсчитывала очень умеренно, не жалуясь при этом, что детское пальтишко в магазине стоит чуть не половину ее официантской зарплаты. Детей, кстати, у нее не было.

- Мальчики, - вздохнула она, глядя не на нас, а на кусочек свежего неба, видневшийся сквозь приоткрытое витражное окно, - пиво кончилось. Последний портвейн взял Закусонский. Остались шампанское и коньяк - очень дорогой!

Человеку, начавшему свою алкогольную биографию после гайдаровских реформ и с малолетства привыкшему к избытку веселящего зелья везде и в любое время суток, эта возникшая у нас проблема может показаться надуманной. Но напомним, что описываемые события происходят как раз накануне спровоцированных мной, дураком, реформ, и мы, воспитанные справедливой, но суровой социалистической действительностью в духе жесткой борьбы за каждый децилитр алкоголя, восприняли эту весть спокойно. Коньяк, даже безумно дорогой, в условиях разразившейся антиалкогольной кампании – это просто подарок судьбы. В конце концов расплатиться можно и завтра, оставив в залог на крайний случай часы или писательский билет. И чтобы закрыть тему, выскажу соображение, давно не дающее мне покоя. Перестройка лишила нас главного – жизненной цели. Создавая массу препон и преград перед пьющим человеком, социализм имитировал, пусть неумело, цель, а значит, и смысл жизни. Капитализм с его ломящимися от горячительных напитков витринами оставил нас один на один с леденящей онтологической бессмысленностью бытия. И нет ему за это прощения!

– Будем пить, что есть, – бодро сказал я Надюхе.

– Деньги, пожалуйста, вперед! – попросила она, продолжая рассматривать кусочек неба в окне.

– Надежда, ты же меня знаешь! – неуклюже возмутился я.

– Знаю, поэтому деньги, пожалуйста, вперед...

– Вперед так вперед! Будем скидываться. – И я полез в боковой карман с таким видом, будто у меня там филиал Госбанка.

Это была известная ресторанный уловка: ты задерживаешь руку в кармане, а ничего не подозревающий новичок вынимает деньги, после чего можно сообщить, что забыл бумажник в пальто, давая ему возможность потратиться. Сведущие в секретах застольного мастерства, Стас и Арнольд сделали то же самое. Так мы некоторое время и сидели, точно три мафиози: каждый сунулся в карман за стволом, но начать пальбу первым никто не решается...

– Будем платить-то? – нетерпеливо спросила Надюха.

Мы вопросительно посмотрели на Витька.

– А у меня шуршиков уже неделю нет! – простодушно ответил он, совсем не смутившись тем, что наше знакомство начинается с прямого вымогательства. – Меня же со стройки уволили...

– Ну мужик пошел! – возмутилась Надюха. – В ресторан без денег идет, к бабе без...

Произнося все это, она почему-то глядела именно на Витька, хотя и мы тоже были «без».

– Без гладиолуса! – подсказал Витек, ухмыляясь.

Надюха посмотрела на него долгим взглядом женщины, забывшей, когда ей в последний раз дарили цветы.

– Может, часами возьмешь? – поколебавшись, предложил я, глянув на свои «командирские». – Завтра принесу деньги...

– Бери, очень хорошие «котлы»! – поддержал меня Витек, уже начавший понемногу осваиваться.

Скажу сразу: отдать эти часы в залог мне было так же непросто, как папуасу оставить в колониальной лавке свой амулет – мумифицированную и ставшую священной погремушкой мошонку любимого дедушки. (Пошловато, но все равно надо запомнить!)

– Ну, конечно... Сейчас! Куда их девать-то, часы ваши? Скоро магазин «Тик-так» тут откроем! – ответила она с той чисто бабьей сварливостью, после которой обычно следует согласие.

– А что это вы, собственно, грубите! – влез нечуткий Жгутович и все испакостил.

– Я грублю?! – возмутилась она.

– Ты, Надь, пока иди, – примирительно сказал я. – Мы посельсоветуемся...

Окатив нас взглядом, исполненным женского презрения, она отошла от столика, и Витек проводил ее жадным глазом. Некоторое время мы сидели молча, стараясь не смотреть друг на друга, а потом Арнольд, крикнув, полез в рюкзак и выставил на стол литровую бутылку из-под венгерского вермута, наполненную жидкостью, по цвету напоминающей отработанное моторное масло.

- Это та самая «мараловка»? - уточнил я.

- «Амораловка», - поправил Арнольд, разливая по рюмкам - себе чуть-чуть, нам со Стасом побольше, а Витьку - граммов сто. - Тебе до краев. Ты молодой, у тебя еще вся печень впереди!

- Это не опасно? - покосился на рюмку Стас.

- Пока еще никто не умер.

Мы чокнулись и выпили. У настойки был вкус технического спирта, в который уронили кусочек селедки иваси с луком. Витек, опрокинув рюмку, замер, прислушиваясь к тому, как алкоголь теплой мышкой бежит вниз по пищеводу. В тот момент, когда мышка достигла желудка, он согласно кивнул.

- Лекарство? - морщась, спросил Стас.

- Настойка из маральных рогов, лучшее средство от рогов внутрисемейных, - разъяснил Арнольд. - Даже самый плевый мужик, как выпьет, места себе не находит, пока кого-нибудь не прищемит. У нас ее поэтому «амораловкой» и прозвали. Вы сегодня больше - ни-ни, а то резьбу сорвете.

- Предупреждать надо! - обиделся Стас.

- Не серчай. Чуть-чуть полезно. У вас ведь с Витьком - разговор, а какой разговор без рюмахи?

- Да, разговор, - вздохнул я. - Значит, говоришь, выгнали тебя с работы?

- Ага.

– Да ладно, не чинись, расскажи, как ты на собрании бригадиром по трибуне колотил! – подсказал Арнольд.

– Бригадиром? – переспросил я.

– Бригадиром, – виновато кивнул Витек.

– М-мотивы? – не очень твердо потребовал Стас.

– Сука он!

– У-уважительные мотивы! – кивнул явно поплывший Жгутович.

Да я и сам почувствовал, как внутри зарождается и начинает пульсировать горячее беспокойство вполне определенной направленности. А бредовая идея сделать из Витька мировую знаменитость вдруг показалась мне не такой уж глупой, но даже волнующе заманчивой, как первое прикосновение к незнакомой девичьей коже. Я глянул на Стаса: его бледные впалые щеки зарумянились, залысины запотели, а в глазах появилась похотливая целеустремленность. У Витька на лбу тоже выступила испарина, и он своими толстыми пальцами пытался слепить из хлебного мякиша нечто женское. Арнольд же наблюдал за действием «амораловки» с тихой улыбкой юнната.

– Ну и что ты теперь собираешься делать? – спросил я у Витька после некоторой паузы.

– А хрен его знает... – пожал он здоровенными плечами.

– Но работать-то надо!

– Наумиха моя тоже говорит – надо...

– Ругается?

– А то – пила двуручная!

- Цыц! О матери такие слова! – нахмурился Арнольд.

- Ну и какие у тебя, Виктор, планы? – Я постарался вопросом замять возникшую неловкость.

- Не знаю, может, грузчиком в универсам устроюсь.

- Сопьешься! – покачал головой Арнольд.

- Сопьюсь... А может, к дядьке, к вам в Красноярск, подамся...

- Приезжай. Найдем тебе сибирячку! Знаешь, такую, с огоньком в одном месте...

По тому, как это было сказано, стало ясно: те несколько капель, что выпил Арнольд, тоже не прошли для него бесследно. Но с Витьком вообще творилось нечто невообразимое: он вдруг побагровел и покрылся потом, словно минут двадцать пробыл в хорошо протопленной русской парной, нещадно обхлестывая себя дубовым веником с крапивцей. Да и сам я ни с того ни с сего вдруг ярко и остро вспомнил одну мою мимолетную подругу юности, которая в кульминационные моменты почему-то всегда раздражалась хриплым хохотом, по звуку похожим на тот, что издают «мешочки со смехом», продающиеся теперь во всех развлекательных магазинчиках. Меня тоже бросило в пот, и я исподлобья глянул на Стаса: он, нервно подергивая щекой, так лихорадочно листал свою записную книжку, словно кругом был огонь, а он забыл телефон пожарной команды.

- О'кей – сказал Патрикей! – кивнул Витек. – Приеду.

Я с укоризной посмотрел на Арнольда, а раздосадованный Стас даже пнул его под столом ногой.

- А с другой стороны, – спохватившись, покачал головой Арнольд, – мать одну бросать нельзя!

- Нельзя, – согласился Витек.

- А писателем ты стать не хочешь? – напрямки спросил я.

- Кем? – обалдел он.

- Писателем.

- Не-ет... У меня по русскому в школе три с минусом было. Да и то потому, что я учительнице картошку окучивать помогал...

- Это неважно! Писать тебе не придется, – решительно пообещал я под влиянием «амораловки».

- А что же тогда я буду делать?

- Ничего.

- Значит, писать не надо?

- И читать не надо! – захихикал Стас, оторвав страстный взгляд от незнакомки, одиноко пившей шампанское за соседним столиком.

- Чего? – не понял Витек.

- Он пошутил, – объяснил я.

- Они когда-нибудь тут в Москве дошутятся! – молвил Арнольд с угрюмой неопределенностью.

- Надо покумекать, – тихо ответил Витек и задумчиво обвел глазами наш стол, жалкий, как завтрак мусорщиков.

- Ах, это! – понял я. – Это пусть тебя не смущает. Такова писательская жизнь: сегодня густо – завтра пусто...

- А чаще что? – спросил Витек.

– Трудный вопрос. У кого как... Но у тебя деньги будут, много денег, потому что есть такой закон: чем писатель меньше пишет, тем больше у него денег!

– Значит, будешь миллионером! – хихикнул Стас и послал незнакомке пылкий взгляд, хотя надо было бы послать бутылку шампанского, ибо свою она уже допивала.

– Из загранок вылезать не будешь! – продолжал живописать я и, покосившись на Стаса, громко добавил: – А женщины! Какие женщины у тебя будут!

– Правда? – зарделся Витек.

– Правда! В Москве тоже девки с огоньком есть. Мало, но есть. Соглашайся, – посоветовал Арнольд. – Чего ты теряешь? У них свой интерес, у тебя – свой. Не понравится – пошлешь их на хрен... И к нам – в Красноярск!

– О'кей – сказал Патрикей! – кивнул Витек.

И одновременно с его словами в потолок громко выстрелила вторая бутылка шампанского, заказанная незнакомкой. Наверное, как я позже понял, таким образом провидение хотело предостеречь меня от этого опрометчивого шага впоследствии так дорого стоившего мне, да и всему нашему Отечеству...

Впрочем, настоящую цену тому давнему пари я узнаю, когда мы приземлимся в Шереметьево-2.

– Тогда по рукам! – засмеялся Арнольд.

Я во второй раз за один вечер, но теперь уже с куражистой уверенностью протянул свою ладонь для скрепления договора. Витек сжал ее крепко, но без членовредительства, а Арнольд накрыл наши руки сверху растопыренной пятерней. Ни руки Жгутовича, ни его самого в этот ответственный момент поблизости не оказалось. Он уже со свойственной советскому обольстителю непосредственностью сидел за столиком незнакомки и хлебал ее шампанское...

– Вот и славненько! – сказал Арнольд, вставая. – Очень хорошо, что все сладилось. А мне пора на паровоз. Вы только с «амораловкой» поосторожнее!

Много – вредно. Гляньте: Жгутович – глиста глистой, а как вскобелился-то!

Лукаво усмехнувшись, он подхватил рюкзачок и направился к выходу. А я, глядя ему вслед, почему-то с будоражащей достоверностью вспомнил давний-предавний свой турпоход и одну крепенькую инструкторшу, научившую меня, школьника, ставить палатку за рекордные две минуты, а потом в этой самой палатке разъяснившую мне, возбужденному, несмышленому: то, что в туризме – абсолютный рекорд, в сексе – абсолютно не рекорд. Прав Арнольд: «амораловки» больше ни капли!

Тем временем к нам, чтобы собрать пустую посуду, подошла Надюха. Перешучиваться и кокетничать с безденежными клиентами не имело смысла, поэтому она хмуро и молчаливо складывала в стопку грязные тарелки, брезгливо косясь на понатыканные в них окурки. Склоняясь над столом, официантка невольно предъявляла нам свою вполне убедительную грудь. Неожиданно Витек схватил ее за руку и потянул к себе:

– Как зовут-то?

– Отпустите, – ответила она с томной строгостью.

– Отпущу – упадешь!

– Нахал...

– Пускай нахал – лишь бы пахал! – засмеялся Витек, и я подумал о том, что современная наука явно недооценивает нынешний городской фольклор.

– Я милицию вызову! – неуверенно пообещала Надюха.

– Позвонила я ноль-два – ноги сходятся едва! – поддал Витек.

– Скажите вашему другу! – Она растерянно глянула на меня.

– Отпусти ее! – приказал я, заметив, что возня у столика привлекла внимание хмурой метрдотельши, похожей на смотрительницу женской тюрьмы.

Витек неохотно выпустил руку, Надюха потерла покрасневшее запястье, буркнула: «Дурак» – и, подхватив посуду, ушла. Мы проводили ее голодными взглядами. Первым опомнился, конечно, я:

– Давай сразу договоримся: ты ничего не делаешь без моего разрешения!

– Что ж, мне теперь и ляльку без вашего разрешения не зачалить? – засопел Витек.

– Без моего разрешения – нет. Повторяю: ты должен меня слушаться, иначе эксперимент сорвется...

– Эксперимент... А я, выходит, кролик?

– Тебя это так смущает?

– В общем, нет... В нашей собачьей жизни кроликом побыть – это даже неплохо.

Он задумался и снова принялся лепить из хлебного мякиша форму, которую, если ее увеличить раз в сто, можно совершенно спокойно показывать на выставке современной скульптуры, назвав, допустим, «Женщина на изломе луча». Я тоже задумался, а точнее, под влиянием «амораловки» затомился воспоминаниями об Анке, о наших безумных ночах на даче в Перепискино, о смуглом мраморе ее тела, с победной ненасытностью вздымавшегося надо мной, точно торс языческой богини над пьедесталом... Да, воспоминания – это разновидность некрофилии. К здоровой реальности меня вернул Стас, снова усевшийся за наш столик.

– А где Арнольд? – удивился Жгутович.

– Ушел на медведя, – объяснил я.

– Понял... Слушай, – страстно зашептал он, – у меня к тебе есть просьба. Поскольку ты все равно проиграешь, я бы хотел сегодня вечером в счет будущих прав использовать твою квартиру. Ты не возражаешь?

Произнеся это, он метнул нежно-обещающий взгляд незнакомке, приканчивавшей уже третью бутылку шампанского. В ответ она показала ему алчущий язык.

- В принципе не возражаю, - ответил я, - хотя это то же самое, как если б мне в счет моего будущего несомненного выигрыша захотелось бы вырвать несколько страниц из твоей «Масонской энциклопедии»...

- Ну ты сравнил! - возмутился Стас.

- А во что вы играете? - поинтересовался Витек.

- В жизнь, - улыбнулся я нашему простодушному другу и, снова повернувшись к Стасу, добавил: - Но даже если я, учитывая твое состояние, разрешу тебе воспользоваться моей квартирой, ты все равно не сможешь этого сделать...

- Почему это? - возмутился Стас, уловив в моем ответе недоверие к его потенциалу.

- Оглянись, эротоман ты хренов!

Он обернулся: в дверях стояла его жена, которую я заметил минуту назад.

- Она... она... видела, как я?! - прошептал он, мертвея, и показал глазами на незнакомку, манившую его к себе пустым бокалом.

- Не умирай, - успокоил я. - Она вошла, когда ты вернулся к нам.

- Фу-у. - Стас выдохнул, как подсудимый, которому в последний момент расстрел заменили пожизненной каторгой.

- Сам выпутаешься или помочь? - великодушно спросил я.

- Помоги!

Я встал, подхватил Стаса под руку и, широко улыбаясь, повел его к супруге. Она смотрела на нас, как пулеметчик смотрит на наступающие вражеские цепи, подпуская поближе, чтобы бить наверняка. Попутно мне довелось принять на себя пьяные объятия незнакомки, кинувшейся вслед ускользавшему от нее Жгутовичу. Бережно, но не без усилий усадив ее за столик, я догнал Стаса еще до того, как он успел открыть рот. Невинно глядя прямо в свинцовые глаза его супруги, я затараторил про то, что сегодня якобы имело место одно очень серьезное обсуждение моей новой книги и для меня жизненно важным было выступление ее мужа, славящегося своим безукоризненным вкусом и неопишуемым красноречием. Вранье затягивает, и я рассказал, как после блестящего выступления Жгутовича в зале долго не смолкали аплодисменты и как потом я в знак благодарности пригласил его на ужин, естественно, все расходы взяв на себя. В этом месте я чуть не засмеялся. Я говорил все это без единой паузы, втискивая слово в слово, фразу в фразу так, чтобы перебить меня было невозможно. Я уверял, будто бы Стас каждые пять минут бегал в холл звонить домой, но линия была фатально занята, ибо наша Миусская телефонная станция, самая старая в Москве, построена еще до революции, а во время мятежа левых эсеров в 1918 году в нее угодила снаряд, и последствия этого сказываются по сей день, в чем мадам Жгутович могла собственноручно убедиться, не дождавшись звонка от мужа! Все это я тараторил до тех пор, пока не довел супругов до дверей и не выпустил на улицу, где обилие пространства позволяло разрешить им свой семейный конфликт в самых адекватных формах. Перед тем как вернуться к Витьку, я забежал вниз, в туалетную комнату, чтобы смыть пот, выступивший на моем лице от «амораловки» и изнуряющего вранья.

5. Покинутый мужчина

Когда я вернулся к нашему столику, там никого не было, а метрдотельша смотрела на меня как-то странно.

– А вот здесь парень сидел? – спросил я.

– Этот маньяк в нечищенных ботинках? – отозвался со своего места наблюдательный Закусонский.

– Почему маньяк? – удивился я. – Очень талантливый молодой писатель.

- Так уж и талантливый? - ухмыльнулся Закусонский.

Он, будучи настоящим критиком, твердо считал талант своей глубоко личной принадлежностью и наличие талантов у кого-либо еще полагал такой же нелепостью, как копыта у болонки.

- Этот твой молодой талант схватил Надюху и уволок...

- Куда?

- В грот любви! - обронил мерзавец Одуев, покидавший ресторан в обнимку со своей школьницей.

- Стишки ей читать будет, - добавил Закусонский с интонацией, в которой заключалась зоологическая ненависть ко всем жанрам литературы без исключения.

- При чем тут стихи? - разозлился я. - Он пишет... Ну, допустим, прозу...

- Ах, бросьте, - засмеялся Закусонский, подмигнув нашему ресторанному обходчику Гере, деликатно шакалившему возле столика, где, уронив голову между пустых бутылок, спала незнакомка.

Тем временем к столику приблизилась строгая метрдотельша:

- Учтите, если Надежда не вернется через полчаса, я переведу ее в посудомойки!

- А если она не виновата, если он насильник! - заступился за Надюху глумливый Закусонский.

- Так не бывает... Писатель, а такой ерунды не знаете! - отрезала метрдотельша.

Они не вернулись. Не вернулись ни через полчаса, ни через час... Они вообще не вернулись в тот вечер. Ресторан начал пустеть. Очнувшись, незнакомка допила

шампанское, подкрасила губы и ушла, твердо печатая шаг. Чурменяев с иностранцами, нализавшимися совершенно по-русски, уехал догуливать в «Метрополь». Я прождал до самого закрытия ресторана, когда уже притушили свет и официанты принялись срывать со столов, будто одежды с пьяных женщин, скатерти и ставить стулья вверх ножками. Перебравших литераторов, выборматывающих что-то о своей нецененной гениальности и безусловной слабости Достоевского как стилиста, под руки выводили на воздух, где они стояли и, пошатываясь, мучительно вспоминали свои адреса, чтобы сообщить таксистам.

Я взял со стола бутылку «амораловки», покрепче завинтил пробку, сунул в портфель и тоже вышел на улицу. Был теплый июньский вечер. В воздухе стоял нежно-металлический запах первой грозы, которую синоптики настойчиво обещали и которая, видимо, все-таки осуществилась, покуда я сидел в ресторане. Впрочем, что там гроза, некоторые умудряются революции в кабаках пересидживать! Опасаясь, что моя нетрезвость может заинтересовать дежурящих в метро милиционеров, я решил отправиться домой пешком. До моей 2-й Вздыбленской, в ту пору еще носившей имя командарма Тятиня, было полчаса ходьбы.

Я испытывал очень странные чувства. Прошло много времени, а я хорошо их помню. Если принять эзотерическую версию творившегося со мной, то мое плотное тело – иными словами, плоть – спокойным шагом, соблюдая все правила общежития и дорожного движения, перемещалось по вечернему городу в направлении Никитских ворот, правда чересчур внимательно разглядывая встречных женщин и девушек. Но мое эфирное тело желаний рвалось куда-то, точно юный кобелек с поводка.

«Проклятая „амораловка“!» – подумал я и стал шарить по карманам. Двухкопеечную монету я нашел, а вот найти исправный автомат оказалось значительно труднее: у одних были с «мясом» вырваны трубки, у других отсутствовали диски, третьи вообще напоминали вскрытые злоумышленниками небольшие настенные сейфы. Лишь много позже, ознакомившись с замечательной теорией этногенеза Льва Гумилева, я понял причину столь лютой ненависти моих соотечественников к телефонным автоматам. Видимо, наш народ, будучи исторически моложе, чем, допустим, англичане, в настоящее время переживает тот период, который у англосаксов ознаменовался движением разрушителей ткацких станков – луддитов. У нас же крушат телефонные автоматы: национальная специфика.

Но работающий аппарат я все-таки нашел. Сначала он безвозмездно сожрал мою монету. Но при второй попытке соединил меня абсолютно бесплатно.

– Алло! – отозвалась она ровным голосом и почти сразу.

«Значит, одна», – подумал я.

У нее была странная манера: она никогда не отключала телефон и даже в моменты самого захватывающего крещендо, услышав звонок, выскальзывала из моих объятий и брала трубку. Но в такие минуты голос у нее был прерывистым и говорила она очень коротко и сухо: «Да. Скорее. Я занята...» А потом она возвращалась ко мне, смеясь: «Соскучился?»

– Алло?! – еще раз сказала она, и в голосе слышалось раздражение. –
Говорите.

А что я мог сказать? Все, что возможно, я уже сказал, и это не помогло.

– Да что же вы молчите, черт подери!

Разумеется, она сказала вовсе не «черт подери», но я не какой-нибудь постмодернист литинститутского разлива и никогда не путаю бытовую речь с литературной. Вообще Анка очень вспыльчивая.

У нее даже в наших литературных кругах одно время было прозвище «Верная рука». Это потому, что, когда ей вдруг казалось, будто кто-то на обсуждении рукописи или просто за пьяным столом говорил нечто подлое или просто несправедливое, она тихонько отзывала его в сторонку и, ничего не объясняя, вкатывала звонкую пощечину. Сдачи ей, разумеется, не давали: во-первых, женщина, во-вторых, красивая женщина, а в-третьих, дочь самого Горынина! Меня, кстати, она не ударила ни разу! Ни до, ни во время, ни после. А Анкой ее назвал отец, выросший в деревне, где в клубе чаще всего крутили «Чапаева», и молоденькая пулеметчица была его идеалом революционной женственности.

– Если это ты, – уже совершенно другим голосом сказала она, – то повесь трубку первым...

Я повесил трубку. И пошел домой. По дороге мое тело желаний совершенно обезумело: мне с большим трудом удавалось удерживать его на тугом астральном поводке, и таким образом я успешно избавил от самых разнузданных приставаний двух милых студенток и усталую домохозяйку с большой сумкой, из которой уныло свешивался зеленый лук. Наконец, почти у самого подъезда я чудом уберегся от опрометчивого и бесперспективного знакомства с немолодой, но юно намакияженной для вечернего выгула собаки дамой. Натягивая астральный поводок, мое тело желаний обнюхалось с ее остриженным под ягненка пудельком и вернулось ко мне, разочарованное.

Войдя в квартиру, я, не раздеваясь, присел к столу. В машинку была заправлена страничка с напечатанными неделю назад словами:

ИСТОРИЯ МОСКОВСКОГО ШИННОГО ЗАВОДА

Глава первая

Шины для диктатуры пролетариата

Проведя пальцем, я обнаружил, что бумага покрылась тонким слоем пыли. За историю шинного завода я уже получил аванс и давно эти деньги прожил. Впрочем, точно так же мной были получены и прожиты авансы за статью для журнала «Пионер» о закаливании холодной водой, чего сам я с детства не выношу, за стихотворное приветствие учащихся ПТУ съезду профсоюзов, за историю Кировской пионерской организации, за перевод поэмы Эчигельдыева «Весенние ручьи созидания» и не помню еще за что. Я никак не мог заставить себя написать эту в общем-то плевую чепуху, ибо во мне уже несколько месяцев клубился, все сгущаясь, роман, настоящий роман, главный, «главненький», прочтя который, Анка поймет все и примчится ко мне внезапно, ночью, навсегда! Собственно, для того и существует литература, чтобы женщина, прочтя, плачущая и полуодетая, примчалась к тебе ночью – навсегда. Но и за роман, за «главненькое», сесть я тоже никак не мог, ибо оплаченная поденщина не пускала, висела на душе чугунной гирей. Писать настоящую книгу, когда на тебе висит пионерское приветствие съезду профсоюзов, – то же самое, что, не залечив случайный триппер, добиваться благосклонности Прекрасной Дамы,

которую искал всю жизнь... (Фу! Пошло. Не запоминать!)

Вот в таком крайне буридановом состоянии я и существовал последнее время, маясь между халтурой и «главненьким». Кстати, о «главненьком». Появление этого словечка тоже связано с Анкой. Был такой популярный в ту пору анекдот. Женщина, родившая тройню, показывает младенцев журналисту в той последовательности, в какой они появились на свет. Дети лежат в мокрых пеленках, плачут – просят титьку, а она говорит: «Это – мой старшенький. Это – мой средненький. Это – мой младшенький...» – «А это?» – удивляется корреспондент, кивая на мужика в мокрых штанах, который лежит на полу и тоже плачет – просит бутылку. «А это – мой главненький!» – отвечает многодетная мать. Словечко перешло сначала в наш альковный язык, а потом Анка стала величать «главненьким» и мой будущий роман. Его я как-то в ночном разговоре с неосторожной искренностью назвал своей «главной вещью»...

В задумчивости я достал из портфеля бутылку «амораловки», взял маленькую коньячную рюмочку и налил граммов тридцать – не больше. Я был так расстроен, что забыл предостережение Арнольда, забыл о навязчивых эротических видениях, забыл о дурацком споре со Жгутовичем, об исчезновении Витька, забыл обо всем, – я налил себе совершенно автоматически, так вохровец, даже будучи на пенсии, в задумчивости делает движение, точно передергивает затвор винтовки. Да, по вкусу действительно похоже на водку, куда уронили кусочек селедки, скорее всего, иваси. Я выпил и несколько секунд сидел, прислушиваясь к тому, как напиток пускает в меня свои бесчисленные живые, горячие, волнующие корни. Потом я, как сейчас помню, вздохнул и по-йоговски задержал дыхание... Одно время я этим увлекался, но быстро понял: для русского человека йога примерно то же самое, что для индуса подледная рыбалка на Медвежьих озерах. Внезапно у меня страшно закружилась голова, а в следующую минуту я увидел всю историю шинного завода с такой отчетливостью, что даже различил капли пота, выступившие на лбу директора этого краснознаменного предприятия, когда, отрапортовав с трибуны съезда победителей об успехах, он услышал медленные слова Сталина: мол, конечно, шинный завод хорошо работает, но было бы интересно узнать, почему же он не работает еще лучше. Я вдруг почувствовал, что мне остается самое малое – просто перенести внезапное озарение на бумагу. Не написать, а записать. Не сочинить, а сыграть по нотам. Я опустил пальцы на клавиши моей «Эрики» так, точно это были клавиши белого рояля, и сам я не обычный литературный халтурщик, но Ван Клиберн, исполняющий Первый концерт Чайковского. Талант – это безумие, посаженное в клетку разума... (Хорошо! Но, кажется, до меня это уже кто-то говорил.)

Я работал до шести утра, пробарабанив от восемнадцатого года, когда был открыт шинный завод, до главы под названием «На дороге в Берлин». Потом встал, сделал шаг по направлению к дивану и рухнул на простыни, как раненый Пушкин в снег...

6. В поисках утраченного Витька

Телефонный звонок пробивался к моему сознанию долго и настойчиво – так спасатели пробиваются к погребенному под лавиной человеку. Наконец, не открывая глаз, я нашарил трубку и прижал к уху.

– Спишь? – спросил бодрый Жгутович.

– Сплю...

– Значит, я тебя разбудил?

– Разбудил...

– Ну и хорошо – уже второй час...

– Я до шести работал... Чего ты хочешь?

– Ничего. У тебя кухня сколько метров?

– Шесть. А что?

– Так. Спросить, что ли, нельзя?

– Можно...

– Маловато...

- Мне хватает...

- Все равно маловато. Не умеют у нас строить. А ты, кстати, знаешь, что, по некоторым сведениям, масонство восходит к древним строителям Иерусалимского храма? Но это не доказано. А по новейшим сведениям... Нет, я лучше тебе зачитаю. Слушай! «Предками современных франкмасонов, носившими то же имя, были, несомненно, настоящие каменщики, и добавление к названию их ремесла слова „свободный“ имело первоначально профессионально-ремесленное, а не социальное значение. Свободными камнями, в отличие от обыкновенных, назывались в Англии более мягкие каменные породы, вроде мрамора и известняка, употреблявшиеся для более мягкой, барельефной работы...» Улавливаешь?

- Что? - начиная просыпаться, уточнил я.

- Если б наши дома строили свободные каменщики, кухни были бы просторнее. Не говоря уже обо всем остальном!

- Тебя вчера жена тяжелым по голове не била?

- Ты что! Даже наоборот... У тебя, кстати, «амораловка» осталась?

- Нет, - соврал я.

- Жаль. Между прочим, масоны очень большое значение придавали различным магическим напиткам...

- Стасик, что с тобой?

- Ничего. Я просто вдруг подумал: а если ты выиграешь наше пари? Хотя, конечно, это невозможно, но я на всякий случай теперь решил перед сном читать страничку-другую из энциклопедии. Ты знаешь, безумно интересно. Подожди, я тебе сейчас про Тота Гермеса Трисмегиста прочитаю...

- Не надо мне читать про Тота Гермеса Трисмегиста! У меня нет времени... О каком пари ты говоришь? - поинтересовался я, осторожно перебирая в памяти обмылки вчерашнего вечера.

- Привет! Это тебя, наверное, тяжелым по голове ударили. Мы же с тобой поспорили...

- О чем?

- Как о чем! О том, что ты сделаешь из Витька знаменитого писателя.

- Я?

- Ты. Если не сделаешь, то твоя квартира поступает в полное мое распоряжение... Забыл?

- Обижаешь... А если сделаю?

- Тогда я отдаю тебе мою энциклопедию.

- Энциклопедию? А на фига мне твоя энциклопедия?

- Не знаю. Ты же спорил... Или ты передумал?

- Нет, не передумал. Просто уточняю детали, - ответил я, просыпаясь окончательно и вспоминая в подробностях вчерашний спор. - Если обещал, значит, сделаю... А где Витек?

- Это у тебя надо спросить. Он же с тобой оставался!

- Оставался. А потом исчез...

- Как это исчез? Что-то ты крутишь! - молвил Стас с тем презрительным разочарованием, которое я ненавижу больше всего на свете.

- Ничего я не кручу! Я как раз собирался его искать...

- Найдешь - перезвони мне домой.

- Почему домой?

- Жена, пока «амораловка» действует, отгул взяла и меня тоже отпросила. Сейчас за шампанским побежала. А как ты отработал?

- Пять глав, - гордо ответил я.

- У тебя кто-то и сейчас еще есть? - завистливо спросил измученный моногамией Стас.

- Почему ты так решил?

- Ну, выражаешься ты иносказательно: пять глав... Я только три успел, - расстроился Жгутович.

- Не горюй: на своем поле это очень хороший результат!

- Мне тоже кажется. А у тебя точно «амораловки» больше нет?

- Нет, конечно! Зачем мне тебя обманывать? - искренне ответил я, косясь на бутылку, где еще оставалось граммов восемьсот.

- Ну ладно, пока, а то жена дверь открывает... - заторопился Стас.

- Ты учти, женщинам нравятся длинные главы, - ехидно посоветовал я и повесил трубку.

С трудом поднявшись, я побрел в ванную и долго стоял перед зеркалом, вглядываясь в свое бледное лицо и красные, воспаленные глаза. Вот влип! С таким же успехом я мог пообещать превратить Витька в генсека. Прав классик: нельзя мешать напитки... Больше всего в этот момент я был похож на лежавший тут же в мыльнице выдавленный тюбик пасты.

Первым делом надо было срочно реанимироваться...

В Доме литераторов, куда я доковылял через час, уже вовсю гудела благообразная дневная ресторанный жизнь: на спасительный огонек стягивались злоупотребившие вечер труженики пера. О, я знаю по себе: пробуждение их

было ужасно! Помимо неизбежной головной боли, тошноты, диабетической сухости во рту, их терзало чувство похмельной безысходности и вдобавок чисто профессиональный ужас собственной бездарности и бесплодности. С самого утра они мучительно осознавали, что жизнь так и пройдет все, в злоупотреблениях, без больших художественных открытий, а потом тяжело влачили в ЦДЛ, по пути ошарашивая транспортную общественность тяжким духом вчерашнего удовольствия. Но уже после нескольких рюмок водки, закушанных рыбной солянкой, где в золотисто-оранжевой лимфе плавают желтый полумесяц лимонной дольки и с самого дна таращатся иссиня-черные маслины, жизнь постепенно начала наполняться смыслом, думы обретать внятность, а литературные образы тесниться в голове, как гости в лифте. И вот человек, который всего полчаса назад просто не хотел жить, уверенно сидит за столиком, и на лице его играет мудрая улыбка тихого победителя жизни.

Вторым делом я прошел в закуток к официантам, но Надюхи там не было. Мне объяснили, что она сегодня не появлялась, позвонила и сказала: на работу не выходит, потому что выходит замуж.

– За кого? – оторопел я.

– Какая разница, – вздохнула немолодая уже официантка Рита, уставшая от одиночества и чаевых.

– Если она и завтра не выйдет, я ее даже посудомойкой не возьму! – добавила строгая метрдотельша.

Она-то после долгих уговоров и дала мне адрес Надюхи, жившей, как оказалось, в глухом спальном районе Москвы, названном в честь снесенной с лица земли деревеньки, где в прошлом веке обоз, тронувшийся из старой столицы в новую, останавливался на первую ночевку. Пробегая через ресторанный зал, я краем глаза заметил вчерашнюю незнакомку, уныло пившую минеральную воду. Лицо ее было абсолютно неподвижно, ибо при малейшем мимическом колебании толстый слой грима мог осыпаться прямо в тарелку с солянкой.

– Следопытствуешь? – сочувственно спросил меня уже приступивший к своим обязанностям обходчик Гера.

– Скорее да, чем нет...

Поколебавшись, я поехал по выясненному адресу. Хорошо, если Витек тоже забыл про вчерашний спор. А если нет? Обдумав по пути ситуацию, я решил так: используя все свое красноречие, убеждаю Витька в том, что знаменитым писателем становиться ему не стоит. Потом звоню настырному Жгутувичу и сообщаю о нежелании Витька участвовать в наших нелепых играх. Таким образом я сохраняю лицо и выпутываюсь из дурацкого спора...

Надюхин дом стоял на краю огромного оврага, и дальше начинались малюсенькие, точно разбитые лилипутами, огородики с сарайчиками, более смахивавшими на собачьи конурки. Стекла в подъезде были выбиты, лифт расписан однообразными непристойностями.

«Везде луддиты», – подумал я.

Дверь мне открыла древняя старуха, одетая в застиранную куртку строительного отряда с нашивкой «ССО Романтик-76». Переминаясь на пороге, я заглянул в глубь маленькой однокомнатной квартиры и увидел ту привычную бедность, которая копится всю жизнь, чтобы в конце концов прикинуться достатком.

– Здравствуйте! – сказал я.

– А? – переспросила старуха.

– Здравствуйте!! А где Надя?!

– Уехала, слава богу!

– Почему «слава богу»?!

– А?!

– Почему «слава богу»?!

– Всю ночь спать не давали – как резаные... – И она показала рукой на комнату, где виднелась постель, истерзанная, точно в ней искали спрятанные

бриллианты.

«М-да», – подумал я.

– Всю ночь на кухне просидела, – жаловалась старушка. – Тоже молодыми были. И пообниматься любили. Но чего ж криком-то орать? Прошлый-то мужик у Надьки, хоть и пил, не в пример тихий был... А этот сущий варнак прямо-таки!

– Витек?!

– А?!

– Витек?!!

– Он.

– А куда они поехали?!!

– К нему. В Мытищи. Замуж, сказала, позвал...

Повеселев, я отправился на Ярославский вокзал. Задача моя явно облегчалась. Раз Витек решил обзавестись семьей, теперь ему, уж конечно, не до участия в нашем пьяном споре.

Мне всегда казалось, что Мытищи – это маленький подмосковный городок с утками в обмелевшем прудике, с кринками на выбеленных временем штакетинах. Оказалось, это здоровенный город с дымящимися трубами, эстакадами, колоннами марширующих в баню солдат. Сойдя с электрички и оглядевшись, я понял, что, не зная Витькиного адреса, на худой конец хотя бы фамилии, отыскать его здесь будет невозможно. Но я все-таки решил попытаться счастья и, выбрав в толпе мужика с рожей полиловее, расспросил его о дислокации мытищинских пивных ларьков. Конечно, в былые времена мне не хватило б дня объехать все точки, но описываемые события происходили в самый разгар антиалкогольной горбачевской кампании, когда большинство ларьков и павильонов были перепрофилированы на торговлю квасом и соками, а те, что продолжали нести янтарный свет пива в массы, были крайне редки и

общеизвестны, как синагоги в стране, где так долго и настойчиво боролись с антисемитизмом, что к власти в конце концов пришли юдофобы. (Вряд ли пригодится, но все равно запомнить!)

Первая будка располагалась возле техникума, и очередь состояла в основном из лохматой, буйно гоготавшей молодежи. Вторая приютилась рядом с Бульдозеростроительным заводом имени наркома Первомайского, и вокруг нее толкались хмурые работяги в промасленных спецовках, как пиво водой, разбавленные трудовой интеллигенцией – в шляпах и с портфелями. Только третий ларек стоял в новом микрорайоне, где шло бурное строительство и горизонт был заставлен ажурными силуэтами подъемных кранов. Очередь – человек в тридцать – состояла из строителей, одетых в припорошенные кирпичной пылью робы, пластмассовые шлемы и измазанные цементом бахилы – такие, в каких был вечер Витек.

Я прикинул: если актив, подносящий пустые кружки, будет работать споро, если не подвалит ватага шпаны и не возьмет сразу двадцать кружек, если никто не поднимет скандал из-за недолива, а хозяйка в знак протеста не закроет ларек по техническим причинам, минут через сорок я напьюсь пива. Встав в конец хвоста и высказав задумчивые сомнения в свежести пива, я установил неформальный контакт с соратниками по ожиданию и втянулся в серьезный мужской разговор. Сначала поговорили о сравнительных качествах «Туборга» и «Гиннеса», о которых все участники обсуждения очень много слышали. Потом соскользнули на политику и пришли к единодушному заключению, что Мишка мужик в общем-то неплохой, хотя и с гнидовинкой, а вот его Раиса – очевидная бензопила «Дружба», хотя женщина, конечно, обстоятельная. Между делом я поинтересовался, не знает ли кто-нибудь Витька. И один дядька великодушно предложил мне на выбор трех Викторов, включая и своего родного брата, но все они мне не подошли. Ждать пришлось все-таки немного дольше, чем я планировал, потому что к хозяйке зашел сын-школьник, она выставила перед самым моим носом табличку «перерыв» и минут десять отчитывала его за двойку по географии. Наконец я получил кружку мыльно вспененного пива.

– Моча-а! – жмурясь от наслаждения, подмигнул мне здоровый малый в красном пластмассовом шлеме.

– Определенно моча, – согласился я, блаженно отдуваясь после нескольких крупных глотков.

- А вчера совсем пить нельзя было! - сообщил он радостно.

- Ты местный?

- Угу...

И я спросил про Витька. Он ответил, что отлично знает Витька, рыжего, конопатого чальщика, неделю назад изгнанного с работы за ссору с бригадиром.

- А где он живет? - оживился я.

- Вон в том доме.

- Покажешь?

- Не-ет... Меня его мать не любит. Говорит - спаиваю. А моя жена Витька ненавидит. Тоже говорит - спаивает. Диалектика!

В конце концов он объяснил мне, как отыскать Витькину квартиру, и даже подсказал, что звонить нужно двумя короткими и одним длинным, потому что его мать жутко боится воров, но глазка в двери у них нет: кто-то рассказал ей, будто по Мытищам ходит маньяк, который звонит в квартиру и, когда хозяин припадает к стеклышку, бьет в глазок шилом, крича при этом ненормальным голосом: «Спокойной ночи, малыши!»

На условный звонок дверь открыли, но беседовали со мной через цепочку. Сквозь узкую - сантиметра три - щель я мог разобрать лишь то, что это женщина и на голове у нее бигуди.

- Добрый день! - сказал я.

- Я Витькиных долгов не раздаю! - зло крикнула она.

- Я не за долгом...

- А зачем? - испуганно спросила она, и дверь начала медленно закрываться.

- Подождите! Я из стройуправления. Хотим Виктора на работе восстановить.

- А удостоверение у вас есть?

- Конечно! - Я махнул перед щелью, сократившейся до сантиметра, писательским билетом.

- Восстановите! Он же не виноват! - раздался звон отстегиваемой цепочки, что в этом доме, очевидно, означало высшую степень доверия к гостю.

Дверь распахнулась сантиметров на пятнадцать - как раз на длину второй цепочки. Я увидел, что Витькина мать еще сравнительно молодая женщина с белым круглым лицом, тонко выщипанными бровями и пышными формами.

- Вы уж восстановите! - снова попросила она. - Парень-то совсем с круга сбился. Дружки портят. Водка проклятая! А сегодня утром вообще какую-то шушундру в дом притащил - еле выгнала... Жениться собрались. А где тут жениться на двадцати пяти метрах? У меня самой хороший человек есть, непьющий, так я же его в дом не вожу!

- А невесту Надюха звали?

- Зачем мне знать-то? Я, может, сама - невеста!

- А куда же они пошли?

- Мне-то что? Я так и сказала: к себе жить не пущу. У меня тоже хороший человек есть... Пусть живут где знают. С милым рай в шалаше... Так они, наверное, в шалаше!

Возле шалаша сидел, грустно обхватив колени руками, Витек. Кругом валялись несчетные пустые бутылки, грубо вспоротые консервные банки, обертки и огрызки, из чего можно было заключить, что в трудные минуты в этом шалаше отлеживается пол-Мытищ. Витек печально смотрел на сгущавшееся вечернее небо.

- А где Надюха? - спросил я.

- Убежала, - грустно ответил он.

- Почему?

- Сказала, что не шалашовка какая-нибудь по шалашам отираться...

- Правильно сказала. А ты потерпеть, что ли, не мог?

- Не мог! - с вызовом ответил Витек. - «Амораловка» проклятая! У меня внутри как помпа работает...

- Пройдет, - успокоил я. - А что она еще сказала?

- Сказала, что не для того с одним алкоголиком разошлась, чтоб с другим путаться. Да еще Наумиха моя со своим лимитчиком: я в дом не вожу, я в дом не вожу...

- Ты в самом деле на Надюхе жениться собрался?

- Нельзя, да?

- Зацепила?

- Животрепещущая девушка.

- Забудь о ней!

- Уже забыл, - уныло отозвался он. - А ты-то чего приперся?

- Прогуливался и решил тебя проведать...

- Меня тоже всегда с похмелья на воздух тянет, - сознался Витек. - Стремность какая-то в организме, а походишь - отпускает... Но ты вчера хорош был! В писатели меня заманивал. Помнишь хоть? Телок мне заграничных наобещал...

Или передумал? Я тоже однажды доехал до Пополамска и со сварщиком поспорил, что бухгалтершу за задницу ущипну, а утром передумал. Скандальная баба – всегда мне полчку трешками выдает...

– И совсем даже не передумал, – внезапно возразил я. – Наоборот. Сегодня и начнем. Все у тебя будет – и деньги, и загранка, и женщины в ассортименте. Но про Надюху забудь! Женщина – это не постельная принадлежность и не кухонный комбайн с покрашенными глазами. Это – образ, стиль и уровень жизни. У тебя появятся такие женщины, что прохожие будут оглядываться... Потому что есть такие роскошные женщины, на которых смотришь и не веришь, что кто-то их раздевает!

– Ага, а одевать я их буду на какие шиши?

– Не волнуйся. У тебя будет слава, а слава и деньги всегда рядом ходят, как алкоголизм и цирроз...

– Ага, а слава откуда возьмется? От сырости?

– Нет, не от сырости. Ты будешь знаменитым писателем! Твое имя будет греметь! Кстати, как твоя фамилия?

– Акашин...

– Жаль.

– Почему это?

– Непронзительная у тебя фамилия. Понимаешь, чтоб люди сразу запомнили, нужно или имя иметь необычное, например Пантелеймон Романов, или фамилию почудней – Чичибабин, скажем... Но еще лучше, когда сразу и имя и фамилия странные. Например: Фридрих Горенштейн. А у тебя ни то ни се: Виктор Акашин... Хорошо хоть, не Кашин. Ужас! С такими данными и в литературу соваться не стоит: читатель из принципа не запомнит. Я бы на твоём месте взял псевдоним...

– Чего?!

– Как твое отчество?

– Семенович.

– Семенов. Нет, пошло... А маму как зовут?

– Галина.

– Галин. Нет, не годится. Не фамилия, а какой-то полиэтиленовый тюльпан... А если попробовать по названию города? Так часто делают. Виктор Мытищин. Вообще кошмар... Ладно, оставайся Акашиным. Как-нибудь выкрутимся, сделаем из тебя писателя!

– Ага, а как я буду писателем, если я писать-то толком не умею? Я ж тебе объяснял... Не-е, ничего не получится...

Я медленно обошел вокруг Виктора. Сломал себе веточку и, прицелившись, срубил верхушку у крапивного кустика – х-х-эк!

– Ты меня вчера невнимательно слушал. Я понимаю: «амораловка», влечение – род недуга и так далее. Поэтому повторяю все с самого начала. Допустим, ты не умеешь писать. А кто умеет? Кто?! Хемингуэй застрелился, когда понял, что он всего-навсего раздутый критиками репортеришко. (Х-х-эк! – я срубил еще один кустик крапивы.) Рембо в девятнадцать лет плюнул на стихи и занялся торговлей. (Х-х-эк!) Гоголь понял, что вообще ничего не умеет, и сжег «Мертвые души». (Х-х-эк!)

– А что же мы тогда в школе проходили?

– То, что осталось! Бабель по двадцать раз переписывал каждую страницу. Станет человек, умеющий писать, переписывать по двадцать раз? И ты считаешь, все они умели писать? (Х-х-эк!) И потом, писать тебе не придется. Ты будешь только говорить... Говорить-то ты, надеюсь, умеешь?

– Смотря о чем... Я же ничего не знаю.

– По крайней мере, ты уже знаешь, что ничего не знаешь! А это немало! Те люди, которых ты вчера видел в ЦДЛ, не знают и этого. (Х-х-эк!) Они способны лишь раздувать щеки и повторять десяток-другой заученных фраз. Этим фразам я тебя научу. Это – пустяк. Через неделю о тебе заговорят. Через месяц о тебе начнут писать. – Войдя в азарт, я уже боялся, что Витек откажется от участия в споре, я мобилизовал все свое красноречие. – Через два месяца тебя станут узнавать на улицах. Через три ты будешь летать на международные симпозиумы в Париж и Ниццу, ездить на собственном автомобиле и, как от мух, отбиваться от таких женщин, по сравнению с которыми твоя Надюха – пособие по сексуальной безработице! (Х-х-эк!)

Я огляделся и обнаружил, что прилично-таки выкосил на полянке крапиву. И еще я вдруг подумал, что теплые черточки и пятна на белой коре стоявших вокруг берез не что иное, как не расшифрованная до сих пор письменность, и с ее помощью природа пытается рассказать нам что-то очень важное, но мы в нашей жалкой суете не понимаем ее великодушного порыва. «Неплохо», – подумал я и решил приберечь эти соображения для «главненького».

Я снова подошел к Витьку:

– Ты все понял?

– Туда-сюда... фифти-фифти.

– Витек, а ты, случайно, английским не владеешь? «О'кей», «фифти-фифти»... А то давай будем всем говорить, что ты сразу на двух языках пишешь, как Набоков?!

– Не-е, – засмутился Витек. – Это у нас на стройке студент подрабатывал. Я и запомнил...

– Ладно, тогда ограничимся великим и могучим. Но все это у нас с тобой получится, если ты будешь делать и говорить только то, что я скажу! Даже спать с теми женщинами, на которых я покажу!

– Нам однохренственно. А Надюха меня еще вспомнит!

- Согласен?

- О'кей - сказал Патрикей!

Я остановился, занеся прутик над маленьким нежно-матовым крапивеночком. Мне вдруг стало его жаль.

- А теперь ты можешь мне задавать вопросы. Любые!

- Любые?

- Любые...

- Зачем тебе-то этот эксперимент?

- Мне?

- Тебе.

Я стоял и разглядывал трогательно-зубчатый крапивный кустик, покрытый серебристо-стрекучими, похожими на младенческий пушок ворсинками. Чтобы ответить на вопрос, я должен был рассказать Витьку все. Про моего неведомого папу, про маму-машинистку, печатавшую за занавесочкой до глубокой ночи чьи-то кандидатские и докторские и верившую, что когда-нибудь перепечатает и мою диссертацию. Про то, как я сидел перед операцией в ее душной многолюдной палате и она, уже зная, что ей не доведется печатать мою диссертацию, шептала бескровными губами: «По сорок копеек не соглашайся, по сорок копеек за страницу - дорого!» Я должен был рассказать о том, как с третьего раза поступил в университет и как меня любили однокурсники, сынки больших начальников, за то, что я в любое время суток мог достать водку. О том, как однажды после пьяной вечеринки гордая однокурсница, которая настолько мне нравилась, что я боялся дышать в ее сторону, сама напросилась со мной в койку. Она никак не могла залететь от нашего общего приятеля, а ей очень хотелось за него замуж, ибо его папа трудился ректором института торговли. Я должен был рассказать о том, как я принес свою первую повестушку одному класснику на отзыв. Он прочитал, похвалил и даже предложил напечатать ее под своим именем, выплатив мне пятьдесят процентов гонорара.

Я проплакал целую ночь и согласился. Я должен был рассказать ему об Анке, о том, как она, прекрасная и хмельная, хотела вскрыть себе вены маникюрными ножницами, чтобы доказать свою любовь, а через два дня вышвырнула меня, как надоевшего щенка... Я должен был рассказать ему еще тысячу разных – важных и неважных – историй, событий, случаев, без которых жизнь другого человека, других людей всегда кажется утомительной массовой, фоном твоей собственной жизни, единственной и неповторимой, нежной и трепетной, как вот этот маленький крапивный кустик.

Я должен был объяснить, что, сделав из него, полудурка, знаменитого писателя, я смогу доказать всему миру, но прежде всего самому себе, нечто невероятно важное, такое неподъемно важное, чего не в силах доказать никто. Даже Костожогов... Впервые в бездарной моей жизни я буду не бумагомарателем, сочиняющим полумертвых героев, а вседержителем, придумывающим живых людей! У меня получится. Не знаю как, но получится! Вот оно, мое «главненькое»! А «Масонская энциклопедия» Жгутовича в этом споре такая же никчемная дрянь, как позавчерашний трамвайный билет...

– Значит, ты интересуешься, зачем мне все это нужно? – весело спросил я.

– Ага.

– Не вари козленка в молоке матери его!

– Чего? – оторопел Витек.

– А это первая фраза из тех, что тебе придется запомнить!

И я не стал срубать прутиком бедненького крапивеночка, я просто каблуком вдавил его в замусоренную землю.

7. Огонь, вода и фаллопиевы трубы

Когда я привез Витька к себе домой, он совершенно ослаб: действие «амораловки» закончилось. Я уложил его спать в чуланчик-кладовку, где всегда

у меня готова раскладушка для заночевавшего гостя.

- Спи, - напутствовал я. - И пусть тебе приснится, как ты гуляешь по Парижу с самой красивой женщиной. У тебя много денег. Ты знаменит. Спи!

- А можно, я с теми же деньгами по Мытищам гульну?

- Можно.

- О'кей - сказал Патрикей! - отозвался Витек и закрыл глаза.

Потом я решил повторить свой вчерашний трудовой подвиг, хотя в душе подозревал, что это было всего-навсего странным стечением психофизиологических обстоятельств, наподобие того, как испуганный собаками прохожий вспрыгивает на дерево, откуда потом не может слезть. Я махнул граммов пятьдесят настойки, подождал, пока начнется действие и соблазнительные мыслеформы слетятся ко мне, словно воробьи на горбушку. Потом, учитывая свой предыдущий опыт, глубоко вздохнул и по-йоговски задержал дыхание:

Владыкой стану мира я,

Лишь только сублимируя.

Однажды, немало лет спустя после всех этих событий, уже став популярным эпиграммущечником, я выступал на товарищеском банкете участников всеэсэнговского семинара психоаналитиков, и там это двустишие имело грандиозный успех. В меня даже влюбилась знаменитая и достаточно хорошо для доктора наук сохранившаяся психоаналитесса, с которой сразу после банкета мы поехали ко мне домой. «Завоеватель! - шептала она всю дорогу, прижимаясь ко мне. - Мой копьеносец!» Мы приехали. Затем был краткий постельный официоз, пресный, как кумырская лепешка, а потом всю ночь она читала мне главы из своего исследования «Незаживающий шрам нарциссизма» и выпрашивала, что я, будучи мальчиком, чувствовал, когда мама обещала мне отрезать палец, если я по обыкновенной детской привычке совал его себе в рот. Больше мы не встречались...

Удивительно, но «амораловка» подействовала – в тот вечер я снова ощутил в себе необъятные творческие силы и снова история шинного завода явилась моему внутреннему взору во всей своей дымной красе. Я потрудились до утра, намолотив страниц сорок. Мог бы стучать дальше, но заболели подушечки пальцев, да и действие «амораловки» подходило к концу. Остатки воображения я решил посвятить Витьку. Пока я работал, мне приходили в голову различные идеи, как превратить его в знаменитость. Должен сказать, наша писательская действительность изобилует случаями, когда слава выбирает и возносит на своих перепончатых крыльях таких умственных заморышей, что просто хочется плакать. Над подобными случаями я много думал, стараясь разобраться в блудливом механизме внезапного, ничем не оправданного успеха, и кое-что понял... Для начала нужно придумать Витьку легенду, как разведчику. Писатели – люди патологически завистливые, они не могут примириться с тем, что рядом с ними, по тем же улицам и переулкам, бродит гений, который учился в соседней школе, а потом работал в соседней редакции. Примирить их с этим фактом способно лишь сознание того, что гений приехал в Москву черт знает из какой глубинки. А еще лучше: родился от колхозницы, собиравшей в лесу грибы и изнасилованной медведем. (Запомнить!)

Конечно, я понимал, что Витек еще не готов к квалифицированному изложению легенды, и рассудил так: если его будут спрашивать, откуда он, разумнее всего с улыбкой отвечать: «Из фаллопиевых труб». Для особенно любопытных я придумал заснеженную красноярскую деревню Щимыти, образовав название, как вы заметили, с помощью перестановки слогов в родных Витькиных Мытищах, которые расположены слишком близко от Москвы, чтобы из них вышел хоть сколько-нибудь стоящий литератор.

Вторая важная проблема – экипировка. Ведь писатель не может быть одет, как рядовой инженер или учитель, ибо тогда сразу возникает законный вопрос: почему в этом случае он работает писателем, а не инженером или учителем? Конечно, проще всего было взять пример с дедушки Хэма – ковбойка, грубый свитер, джинсы, ботинки на толстой каучуковой подошве. Но по этому пути уже не первое десятилетие бредут толпы графоманов всех рас и народностей, и тут легко затеряться. В задумчивости я распахнул мой платяной шкаф. Первое, что бросилось мне в глаза, – торчавшая из кучи тряпья пятнистая штанина, похожая на фрагмент оголодавшей анаконды. Эти десантные брюки лет десять назад мне подарили в одной воинской части, где я по путевке бюро пропаганды читал стихи, посвященные Дню Советской армии.

...И я стою в почетном карауле,

Прижав к груди любимый автомат...

Вообще-то сначала у меня было совсем по-другому:

Стою и коченею в карауле —

И греет руки стылый автомат...

Но знакомый редактор, таскавший ко мне в квартиру веселых пэтэушниц и волооких продавщиц, строго заметил: такие строчки он напечатать не может, ибо советский солдат одевается государством так тепло и справно, что не может замерзнуть в самый лютый мороз. А сочетание «греет руки» подозрительно напоминает выражение «нагреть руки». Наконец, «стылый автомат» очень смахивает на постылый автомат, а это будет мгновенно отмечено недругами из Пентагона, денно и ночью отслеживающими политико-моральное состояние нашей армии. На вопрос, что же делать, он пообещал слегка поучаствовать в моем тексте. Стихи вышли через две недели в «Литературном еженедельнике» тиражом два миллиона экземпляров, да еще с моей фотографией. Когда я увидел, как он «поучаствовал», то чуть не заплакал. Я даже несколько дней носил темные очки: мне казалось, что вот-вот какой-нибудь военный, меня узнавший, подойдет и спросит: «Ну и где, чудило, твой любимый автомат?» Обошлось...

Я потянул за штанину, внимательно осмотрел пятнистые брюки и решил принять их за основу. Следующим был синий стеганый восточный халат, полученный в подарок от кумырского поэта Эчигельдыева, чьи стихи я переводил по подстрочнику: одно время ко мне таскал подружек заведующий отделом поэзии народов СССР, он-то и втянул меня в это, прямо скажем, прибыльное дело. Разумеется, ни кумырского, ни какого другого тюркского, равно как и финно-угорского или романо-германского языка я не знал, но по подстрочнику можно переводить даже с древнеазотского, который, как известно, полностью утрачен. Делается это элементарно. В подстрочнике значится:

У моей любимой щеки, как гранат,

Лицо, как полная луна,

Тело, как свитки шелка,

Слова, как рассыпавшиеся жемчуга...

Задача поэта-переводчика – следовать, конечно, не букве, но духу оригинала:

Нас с Зухрою луноликой

Ночь укроет повиликой...

Помню, Эчигельдыев очень удивился, прочитав этот перевод своих стихов в журнале, так как не знал никакой Зухры и уверял, что повилика в Семиюртинске не растет, он даже не знал, что это за растение. К тому же он обиделся, заявив, что восточные девушки, в отличие от русских профурсеток, по ночам где попадая не шастают, а сидят дома. Однако халат он мне все-таки подарил, ибо публикация в московском журнале для национальных поэтов в те времена была чем-то вроде еще одной звездочки на фюзеляже истребителя. Между прочим, для самого Эчигельдыева эта публикация стала судьбоносной: его заприметили и взяли инструктором в Кумырский райком партии. Правда, после этого он окончательно порвал с любовной лирикой и с головой ушел в гражданственность. Его поэма «Весенние ручьи созидания» ждала своего часа на моем письменном столе.

Поразмыслив, я отложил халат в сторону, ибо он придавал будущему имиджу Витька некоторую излишнюю ориенталистичность. Внимание мое привлекла войлочная шапочка-сванка, подаренная мне грузинским критиком, которого я перепил на Днях литературы в Кутаиси. Мы выступали в винодельческом совхозе, а потом пили молодое вино, закусывая шашлыком и ведя ученую беседу о том, что грузинская культура гораздо более древняя и мудрая, нежели любая иная, а уж тем более русская, что Баратынский в подметки не годится Бараташвили, а если б Ван Гог увидел хотя бы одну вывеску Пиросманишвили, он бы отрезал себе в отчаянии не одно ухо, а два и, возможно, даже – нос! Но сванку, после колебаний, я тоже отверг, опасаясь, что Медноструев примет ее за иудейскую ермолку – тогда конец всем моим замыслам...

Но вот следующую вещицу – черную майку с надписью «LOVE IS GOD» – я решил пустить в дело. Эту майку забыл у меня мерзавец Одуев, которому я за четвертак сдал на две ночи квартиру: его родители, работавшие за границей, как раз в ту пору приехали на побывку, а у него вдруг закрутился роман с рыжей

страшненькой американочкой, до такой степени горячо интересовавшейся судьбами социалистического реализма, что идиоту было ясно – помимо статей об эстетических тенденциях советской литературы, она пишет и аналитические записки для соответствующего отдела ЦРУ. Впрочем, как говорили древние, что внизу, то и наверху, – Одуев тоже наверняка сотрудничал с КГБ, в противном случае хрен бы он оказался в одной постели с представительницей чуждой идеологии. В те времена такая поэтическая вольность могла закончиться печальным извивом судьбы.

Я отложил майку и продолжил тряпичные раскопки. В самой глубине шифоньера, точно хищник, затаилась лохматая доха закарпатского пастуха. Эту доху я выменял за бутылку московской водки с завинчивающейся пробкой (большая редкость в тех краях), когда летал на Гуцульщину по командировке журнала «Среднее животноводство», где в молочном отделе работал знаменитый Любин-Любченко – теоретик авангарда и практик андеграунда. Иногда он подбрасывал мне работенку – интересные командировки, но совсем не за то, что я разрешал ему водить в мою квартиру женщин. Нет, не за то! Он водил в мою квартиру мужчин.

А та командировка незабываема: Карпаты есть Карпаты! Мы очень хорошо посидели с ребятами-пастухами у костра: они мне полушепотом рассказывали про Большого Иванку – местного «снежного человека», воруящего у них овец. А я им – про московское метро. В моем рассказе их больше всего поразило, что если в турникет бросить не пять копеек, а пятнадцать, то он тебя в метро не пустит, хотя, казалось бы, ты переплачиваешь. А весть о чудо-автоматах, разменивающих любые монеты на пятаки, повергла их в смятение. Уже засыпая, я слышал их удивленное шушуканье. Меня же поразило в услышанном тот факт, что Большой Иванка таскает не только овец, но иногда и женщин. Более того, «Большой Иванка» – это у гуцулов еще и ласково-уважительное обращение женщины к неутомимому мужчине.

Я положил доху на пол, присовокупил к ней остальное – десантные брюки, майку, – и получился довольно забавный силуэт. Но что-то надо было делать с ногами и головой, без чего, понятное дело, человек неполон. С ногами проще: я достал с антресолей пыльные малиновые полусапоги – их подарила мне Анка в пору нашего взаимного счастья. Вообще-то их купил себе, будучи с писательской делегацией в Амстердаме и польстившись на смешную цену, ее отец – Николай Николаевич Горынин. Но поскольку по программе пребывания на «шопинг» отводился всего час, а у него имелся еще длиннющий список, составленный

Анкой и ее матерью, он купил сапоги на глазок, не примеривая, боясь потерять время и по возвращении получить внутрисемейную нахлобучку. А у страха, как известно, глаза велики: сапоги оказались тоже велики и ему, и мне. Но вот Витьку, по моей прикидке, они должны были прийтись впору.

С головой дело обстояло сложнее. Широкополую шляпу я отверг с ходу, ибо в ней было что-то извращенно-эстетское, вовсе не подходящее лесному гению из заснеженной деревушки Щимыти. Но и кожаная кепка с пуговкой на макушке, в просторечье «цэдээловка», тоже не подходила Витьку, ибо каждый самонадеянный графоман, срифмовавший за всю свою жизнь четыре строчки, норовил завести себе такую же. Я уже было после долгих колебаний решил оставить Витька простоволосым, но тут мне попала на глаза забытая Анкой теннисная повязка с надписью «Wimbledon». Анка очень прилично играла в большой теннис. Впрочем, почему играла? Она и сейчас играет с разными выпендрилами из дипломатического корпуса. На их сияющих башмаках никогда не увидишь даже капельки грязи. Они мне напоминают ходячих мертвецов, не отбрасывающих тени. (Запомнить!)

Теннисная повязка достойно увенчала мои поиски: вся экипировка теперь лежала передо мной на полу, похожая на человека, по которому проехал асфальтовый каток. С одеждой вопрос был решен положительно. Как говорится, по одежке встречают... Но провожают, разумеется, не по уму, а по тому, что давно уже в нашем вывихнутом мире успешно заменяет ум – по словам. Слова-то для Витька мне и предстояло придумать. Я заправил в каретку машинки чистый лист бумаги и задумался: в голове ничего не было, кроме уже известной вам фразы про козленка в молоке, слышанной мной от Любина-Любченко.

На составление такого словарного минимума, с помощью которого начинающий гений мог бы свободно общаться с себе подобными, в обычном состоянии у меня могли уйти недели, если не месяцы, – ведь эта дюжина фраз (не больше) должна обнимать все оттенки мысли и чувств, вбирать в себя весь культурологический космос и культурный хаос. Да, задуманное мной было под силу, может быть, лишь великому русскому лингвисту и филологу Александру Ивановичу Бодуэну де Куртенэ! Но «амораловка», видимо, особым образом воздействует на те девяносто процентов нашего мозга, каковые, по уверениям ученых, спят, точно сурки, всю тяжесть интеллектуального труда спихнув на оставшиеся бодрствовать десять процентов. Вероятно, под влиянием «амораловки» эти «ленивые» проценты просыпаются и начинают вкалывать, как комсомол на строительстве Магнитки... Вскоре я уже бодро стучал по клавишам машинки:

ЗОЛОТОЙ МИНИМУМ НАЧИНАЮЩЕГО ГЕНИЯ

1. Вестимо
2. Обоюдно
3. Ментально
4. Амбивалентно
5. Трансцендентально
6. Говно
7. Скорее да, чем нет
8. Скорее нет, чем да
9. Вы меня об этом спрашиваете?
10. Отнюдь
11. Гении – волю
12. Не варите козленка в молоке матери его!

В итоге на составление лексикона у меня ушло двадцать минут. И все предшествовавшее развитие мировой культуры! Перечитав список выражений, я остался доволен: если б мне посчастливилось вступать в литературу, вооруженным этими двенадцатью фразами, моя судьба могла сложиться совсем по-другому. Впрочем, у меня еще все впереди!

Понятно, что пользоваться столь совершенным орудием общения без инструкции Витек не сможет. И, поразмышляв, напротив каждой фразы я нарисовал, как умел, по человеческой пятерне. Получилось что-то вроде азбуки для глухонемых: каждому выражению соответствовал определенный оттопыренный палец. Сначала, как говорят профессионалы, «задействовалась» правая рука:

«Вестимо» – мизинец.

«Обоюдно» – безымянный палец.

«Ментально» – средний.

«Амбивалентно» – указательный.

«Трансцендентально» – большой.

Далее эстафету принимала левая рука:

«Скорее да, чем нет» – большой палец.

«Скорее нет, чем да» – указательный.

«Вы меня об этом спрашиваете?» – средний.

«Отнюдь» – безымянный.

«Гении – волы» – мизинец.

И наконец, указательный и средний пальцы, выставленные «рожками», или, иначе говоря, буквой «V» (символ нашей с Витьком грядущей победы над силами литературного зла), обозначали двенадцатую фразу: «Не варите козленка в молоке матери его!» Наблюдательный читатель, конечно, уже заметил, что мной пропущено короткое словечко под цифрой «6» (см. «Золотой минимум»). Все верно! Это словечко в писательском обиходе, особенно при неформальном обмене мнениями о качестве произведений товарищей по перу, используется с наибольшей частотой и выразительностью. Чтобы оградить моего незамысловатого Витька, знающего это слово с малолетства, от соблазна свести

все богатство «Золотого минимума» к шестому пункту, я решил поставить на него своеобразную защиту, наподобие той, которую авиаконструкторы называют «защитой от дурака»: напротив соблазнительного словечка я нарисовал сразу две руки с двумя оттопыренными большими пальцами.

Работа была закончена... Но возбудившиеся девяносто процентов никак не хотели уgomониться. Тогда я заправил в «Эрику» чистую страничку и, пользуясь остаточным действием «амораловки», стал добивать моих шинников. Последняя глава представляла собой задушевную беседу с директором завода. Ее мне пришлось сочинить от начала до конца, потому что диктофонная запись беседы с этим человеком являлась тяжким звуковым свидетельством неравной борьбы руководителя производства с нормами русского языка. А вот на бумаге разговор получился острый, глубокий, искрометный, и в конце директор мне рассказал даже о том, что узоры на белой коре берез, растущих под окнами его кабинета, напоминают ему еще не расшифрованный язык мудрой природы. Ведь она пытается докричаться до человеческой цивилизации, повернувшей свои рубчатые покрывки совсем не в ту сторону...

Окончание работы ознаменовалось звуком спускаемой в клозете воды. Этот звук у нас в доме напоминает нечто среднее между боевым кличем пьяного команчи и заводским гудком, которым в эпоху тотальной нехватки будильников рано утром поднимали на работу окрестный рабочий класс и трудовую интеллигенцию. Я оглянулся: в дверях стоял полупроснувшийся Витек в длинных и цветастых, как у волка из «Ну, погоди!», трусах. В толстых пальцах он механически крутил кубик Рубика – эта разноцветная головоломка всегда лежала у меня в туалете, чтоб не давать восторжествовать тужащейся плоти над парящим духом. Сегодня кубик Рубика почти забыт, но в те времена гексаэдр с разноцветными гранями был чрезвычайно популярен. А еще в цветные квадратики я вписал весь алфавит, и при вращении буквы складывались в замысловатые словечки. Как известно, даже самое нелепое буквосочетание что-то да означает. «Абракадабра», например, по-древнееврейски значит «мечи свою молнию даже в смерть!».

– Трансцендентально! – воскликнул я. – Так и будешь ходить!

– Чего? – оторопел Витек.

– Трансцендентально – это хорошо, клево...

- Ништяк, - подсказал Витек.

- Да. Ништяк. Вот так и будешь теперь ходить с кубиком, и если кто-то спросит, зачем тебе он, ответишь: «Ищу культурный код эпохи...» Повтори!

- И-ищу к-культурный код э-э-эпохи... - неуверенно повторил он.

- Не хмурься! Улыбнись!

Витек озарился светлой улыбкой идиота, которому пообещали купить мороженое.

- Нет, не так! Ты не так должен улыбаться.

- А как?

- Как? - Я задумался. - Как...

В этой улыбке должны воссоединиться горечь бытия, мед воспоминаний, дерзость сердца и усталость души... Как? Я улыбнулся так, как мы улыбаемся, если на улице вдруг встречаем женщину, в которую когда-то были безумно влюблены, а теперь увидели ее расплывшейся, увядающей домохозяйкой с набитыми сумками в руках и гирляндой из рулонов туалетной бумаги через плечо.

- Понял?

- Вроде понял, - кивнул Витек.

После нескольких попыток у него получилось нечто подходящее. И тогда я приказал ему одеться.

- В это? - обиделся он. - Я не шаромыжник...

- Да, в это! Одевайся!

- Иди ты знаешь куда!

- Мы же с тобой договорились! Ты выполняешь все, что я тебе говорю!

- Надо мной же смеяться будут, - захныкал Витек.

- Это мы над ними смеяться будем, когда ты премию Бейкера получишь.

- Какую еще премию?

- Как-нибудь расскажу. Одевайся!

Он напялил на себя разложенную на полу одежду - и эффект превзошел самые смелые ожидания: передо мной стояла живая загадка русского национального характера и, тихо матерясь, разминала тесноватые сапожки.

- Разносятся, - успокоил я.

Обойдя Витька со всех сторон и поправив на лбу алую ленточку с надписью «Wimbledon», я отошел на несколько шагов и еще раз осмотрел моего питомца, щурясь и складывая губы гузочкой, как это делают на вернисажах некоторые посетители, подчеркивая таким образом свою причастность к миру искусства.

- Вращай кубик! Энергичнее! Ментально...

- Чего? - переспросил Витек.

- То, что надо, - объяснил я.

- Ты надо мной насмехаешься, что ли?

- Отнюдь...

- Насмехаешься, - помрачнел Витек. - Знаешь, я не хочу быть писателем. Я лучше назад... Бригадир - мужик отходчивый, возьмет. И Надюха тоже вроде не злопамятная...

- Не вари козленка в молоке матери его! - строго сказал я.

Еще вчера утром я бы с восторгом воспринял этот Витькин отказ. Но сегодня нет! Я уже вступил на тропу войны с идиотизмом жизни и смывать боевую раскраску не намерен. Я успокоюсь, только заполучив в руки кровотокающий скальп этой подлой людской несправедливости! Я успокоюсь только тогда, когда вся эта литературная сволочь будет лебезить и заискивать перед простодушным чальщиком, которого я снарядил в гении!

Взяв со стола листочек с лексиконом, я протянул его Витьку:

- Учи слова!

Он принял страничку и, медленно шевеля губами, начал читать по пунктам, оттопыривая при этом указанные в бумажке пальцы.

- Понял систему? - спросил я.

- Вроде понял...

- Давай проверим!

- Давай.

Я показал ему правый мизинец.

- Вестимо, - сказал он.

Я показал ему левый указательный палец.

- Скорее нет, чем да, - неторопливо сверившись с бумажкой, ответил он.

- Хорошо! Но учти: это я сейчас тебе пальцы к самому носу подставляю. При посторонних я буду делать тебе знаки незаметно. Знаешь, вроде как поигрывая пальцами... Давай порепетируем.

- Давай.

Я сел на диван в непринужденной позе и, похлопывая ладонью по подушке-думочке, неожиданно выставил правый большой палец.

- Транс... - скосив глаза в бумажку, забормотал Витек, - транс... детально...

- Транс-цен-ден-таль-но, - по слогам подсказал я.

- Транс... транс... дентентально...

Через полчаса он выговаривал это слово так, точно окончил Оксфорд.

- Молодец! Просто молодец! - подбодрил я. - Но учти: ты должен все это делать без шпаргалки, на память...

- О'кей - сказал Патрикей! - кивнул он.

- А как тебе вообще моя система? - с плохо скрытой гордостью спросил я.

- Говно! - не глядя в лексикон, бухнул Витек.

Я взвился с дивана:

- Запомни раз и навсегда: это слово ты никогда не должен произносить без команды! Никогда! Команда - два больших пальца! Не один, а два. Запомни! Порепетируем. Допустим, тебя кто-то спрашивает: «Виктор, а как вы относитесь к прозе Чурменяева?» Сказав это, я резко выставил вперед два больших пальца.

- Говно! - ответил Витек, почему-то произнося «г» на украинский манер, отчего слово зазвучало еще обиднее и неприличнее.

- Молодец! - похвалил я и медленно повернул пальцы вниз.

- А это что значит? - спросил он.

– Так римляне приказывали гладиаторам добить жертву. Но это можешь не запоминать – тебе не понадобится. Иди мой руки, будем завтракать!

8. С кем вы, подмастерья культуры?

На следующий день я повез экипированного и обученного Витька в Дом литераторов. В метро пассажиры оглядывали Акашина с недоумением. Из этого я сделал вывод, что одел моего воспитанника именно так, как надо!

Если вы спуститесь в московское метро и доедете до станции «Баррикадная» (революции нужны хотя бы для того, чтобы давать названия станциям и площадям), а потом, поднявшись наверх по эскалатору и оказавшись в городе, повернете налево и пересечете ревушее, пропахшее выхлопными газами Садовое кольцо, то окажетесь в самом начале Большой Никитской, бывшей улицы Герцена. Точнее сказать, вы окажетесь в самом ее конце, ибо начинается она с противоположной стороны, почти от кремлевских стен. А если вы пройдете по улице Герцена буквально несколько шагов, то очутитесь возле массивных дверей, выполненных в министерском стиле пятидесятых годов. Теперь рядом со входом укреплен табличка:

КЛУБ ПИСАТЕЛЕЙ

Но в ту пору там была другая вывеска:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ЛИТЕРАТОРОВ ИМЕНИ А. А. ФАДЕЕВА

Надо ли объяснять, что, если у тебя нет писательского билета, в этот храм литературы ты просто так не пройдешь! Кстати, первый раз меня провел в ЦДЛ Костожогов, но я только потом узнал, что это был именно он. Я маялся возле дверей и вдруг услышал вопрос:

– Хотите зайти?

Вопрос задал невысокий человек, одетый с той аккуратной заурядностью, которая забывается через минуту, и, если даже следователь по особо важным делам будет тебя потом пытаться, во что же все-таки был одет тот человек, ты никогда не вспомнишь. Впрочем, одна деталь осталась: у него был вытершийся кожаный портфель с ручкой, обмотанной синей изоляционной лентой...

– Нет, я жду друга! – самолюбиво ответил я.

Он внимательно посмотрел на меня и улыбнулся. У него было очень странное лицо – пергаментное, нездоровое, покрытое бесчисленными, очень мелкими и как бы ломкими морщинами. Это было лицо ребенка, вдруг узнавшего какую-то страшную тайну и под бременем этой тайны внезапно постаревшего. А вот глаза не состарились и остались яркими-преярыми. Я долго потом не мог понять, кого же он мне напоминает, а потом сообразил. Когда я был школьником, мы ездили с классом в Ленинград и там ходили в Кунсткамеру. Меня страшно поразил заспиртованный в огромной стеклянной банке младенец, у него тоже были серая, почти обесцвеченная, пугающе неживая кожа и широко раскрытые, абсолютно живые, яркие-преярые голубые глаза... Этот младенец потом мне долго снился. (Не запоминать!)

– Да ладно вам, – продолжая улыбаться, сказал Костожогов. – Пойдемте!

Администраторша, увидав меня, бдительно напряжинилась.

– Это со мной! – пояснил Костожогов.

– Вижу! А вы-то кто такой? – сварливо спросила она.

– Я? А, ну конечно... – Он стал, растерянно улыбаясь, шарить по карманам. – Неужели забыл...

На физиономии администраторши уже начало вырисовываться торжество вознагражденной бдительности, но тут Костожогов нашел свой билет.

– Проходите, – разочарованно разрешила она.

Мы вошли.

– Редко бываю. В лицо не узнают. Забыли... – словно извиняясь, объяснил он. – А вы первый раз здесь?

– Да.

– Кофе хотите?

– Хочу.

Мы вошли в буфет, который, как я впоследствии узнал, назывался «Пестрым», потому что стены были разрисованы литературными карикатурами и испещрены разными смешными строчками и эпиграммами.

У поэта Васи Муравлева

Не Пегас, а старая корова...

Или:

Если сидишь над романом, пупея,

Это уже не роман – эпопея!

Он посадил меня за столик, отошел к буфетной стойке и вернулся через некоторое время, неся бутерброды и поставленные на тарелку четыре кофейные чашечки: в двух был действительно кофе, а в двух других – коньяк.

– Угощайтесь!

Я выпил, Костожогов пригубил.

– Ешьте бутерброды, – посоветовал он, заметив мое смущение. – Стихи пишете?

– Да.

– Дело хорошее. Чтобы научиться понимать чужие стихи, надо обязательно попробовать писать самому. Хотите почитать?

– Хочу! – с вызовом сказал я.

– Читайте...

Минут сорок я, по-дурацки завывая, читал стихи, а он слушал не перебивая: в неудачных местах улыбался с каким-то совсем необидным сочувствием, а в удачных – вдруг на миг поднимал на меня свои яркие-преяркие глаза, а потом снова упирался взглядом в стол. Наконец я закончил и вопросительно посмотрел на него.

– Недурно. Вы человек способный. Но это ничего не значит. Дорога в ад вымощена не столько благими намерениями, сколько талантами. У человека, обладающего талантом, два пути – он может стать или подмастерьем дьявола, или подмастерьем Бога. Первое проще и доходнее. Второе – почти невозможно. И очень опасно.

– У Бога опасно? – удивился я.

– Да, именно так. Выбирайте!

– А третьей дороги нет?

– Есть, конечно... Не писать.

– А талант, значит, зарыть? – надменно любопытствовал я.

– Вы никогда не задумывались, почему самые красивые женщины уходили в монастырь?

– Почему?

– Потому что лучше зарыть талант в землю, чем распорядиться им неверно. Каждое неверное слово – пуля, выпущенная в чужое сердце. Когда писатель это осознает, он иногда берет револьвер и стреляет в свое собственное сердце... Ну,

не расстраивайтесь! Я, наверное, немного сгустил... Вы сюда часто ходите?

- Первый раз.

- Извините, я, кажется, уже спрашивал об этом. Не ходите сюда больше! По крайней мере, до тех пор, пока не поймете, у кого вы хотите быть подмастерьем...

- А вы поняли?

- Понял. Но не сразу. Я очень долго соблюдал нейтралитет. Пытался. Но это долгая история... Если интересно, заезжайте как-нибудь ко мне в Цаплино. Я работаю в сельской школе. Представляете - деревянная, одноэтажная школа, у нас даже звонка нет. Когда наступает перемена, завхоз звонит в большой колокольчик. А возле школы огромный вяз, к которому французы привязывали лошадей, идя на Москву... Представили?

- Неужели еще есть такие школы?

- Есть. Приезжайте.

Он вынул из портфеля тонкую ученическую тетрадку, вырвал листок, написал адрес. Потом встал, пожал мне руку и ушел. Несколько минут я сидел в одиночестве, но тут ко мне подошел странный человек в лоснящейся замшевой куртке и, не отрывая взгляд от недопитого костожоговского коньяка, спросил:

- Вы вновь присовокупившийся?

- Скорее да, чем нет... - растерянно ответил я, не совсем понимая вопроса.

- Поспособствуйте коньячком!

Позже я навел о Костожогове справки и выяснил, что в юности он написал знаменитую поэму об обороне Царицына, и хотя, конечно, в обороне молодой поэт лично не участвовал, вещица удалась и была сразу включена в школьную программу. Автор получил за нее Сталинскую премию и орден. В старых учебниках под портретом так и написано: «Н. Костожогов, поэт-орденоносец».

Он был знаменит, богат и страшно плодовит. Его стихи без конца издавали, переиздавали, читали с эстрады, по радио, даже пели... Его дача в Перепискино была самой большой, богатой и хлебосольной. Женат он был на популярной киноактрисе, игравшей в тогдашних фильмах боевых деревенских девушек, которые по ходу сюжета становились то певицами, то летчицами, а то и председательницами колхозов. Рассказывали, что жену ему нашел сам Сталин, предварительно удостоверившись в ее всевозможных положительных качествах. Костожогова прочили на место Фадеева, поскольку тот часто запивал и не справлялся с многочисленными обязанностями. И вдруг Костожогов исчез. Сначала вообще думали, что его посадили. Но потом выяснилось: нет, однажды утром он ушел со своей перепискинской дачи с чемоданчиком белья и связкой книг и обнаружился через некоторое время в глухом Подмоскovie в качестве обыкновенного учителя литературы цаплинской сельской школы. Это классик-то!

Тогда возникла версия, будто он застал свою жену то ли с самим вождем, то ли с кем-то из членов Политбюро, а жена вместо раскаяния, как говорится, рассмеялась ему в лицо. Ничего невероятного в этой версии, конечно, нет, тем более что как раз накануне Костожогову ни с того ни с сего вклеили еще одну Сталинскую премию. Но имеется все-таки некая странность. Жена очень переживала из-за его ухода, ездила к нему в Цаплино, умоляла вернуться, а когда он отказался – с горя запыла, перестала сниматься и через несколько лет умерла. В опустевшую дачу въехал сначала какой-то песенник, а потом – Горынин, как раз прошумевший своей пьесой «Прогрессивка». Потом о Костожогове стали говорить то, что всегда говорят о литераторе, вдруг переставшем печататься, – «исписался». (Как будто писатель – это стержень от шариковой ручки!) Но вдруг в одном неприметном журнальчике появился его маленький рассказ о деревенской жизни, такой по тем временам необычный и вызывающе честный, что, несмотря на неприметность журнала, публикация вызвала целый шквал разгромных статей, а закончилось все снятием с должности главного редактора. Костожогова хотели сначала исключить из Союза писателей за клевету на советское село, даже термин такой появился – «костожоговщина», но потом пошел слух, будто писатель из-за жизненных обстоятельств попросту тронулся умом, и его оставили в покое. С тех пор он нигде не печатался и только изредка бывал в Москве. Говорили, он приезжал на могилу жены, похороненной на Новодевичьем, и по старой памяти раз или два в год появлялся в ЦДЛ. Видимо, в один из таких приездов я его и встретил.

Честно сказать, разговор с ним произвел на меня такое сильное впечатление, что я решил последовать его совету: перечитал свои стихи и даже сжег больше

половины. Я как раз собирался поехать к нему в Цаплино, чтобы своими глазами увидеть звонящего в колокольчик завхоза и вяз, к которому французы привязывали лошадей, но тут объявился Одуев и сообщил, что у него есть два билета на вечер «Поэты – флоту». Он предлагал, воспользовавшись билетами, пройти в ЦДЛ и хорошенько пообщаться... Я согласился. Когда мы все прилично набрались, я завел речь о Костожогове и о том, чьими подмастерьями мы все собираемся стать... Что же тут началось! Закусонский ржал, бодая меня в грудь головой. Одуев хохотал, вытирая слезы рукавом и приставляя к голове «рожки». А Неонилин, тонко улыбаясь, заметил, что исписавшиеся старперы любят морочить молодых конкурентов разговорами об ответственности писателя перед человечеством. Как известно, больше всех боятся заразиться венерической болезнью импотенты! На что пьянехонький Жгутович заметил: хотя он и не импотент, но тоже боится – из-за жены. Я поначалу обиделся и хотел даже уйти, а потом стал смеяться вместе с ними: какие, к черту, подмастерья! Наливай и пей.

В общем, к Костожогову я не поехал. А бумажку с адресом потерял – наверное, выронил где-нибудь...

С тех пор я стал ходить в ЦДЛ постоянно. И хотя, конечно, никто больше не предлагал провести меня внутрь, существовала масса способов перехитрить бдительных администраторш. Например, если дело происходило вечером, ближе к семи, можно было купить или даже просто выпросить пригласительный билет на встречу с каким-нибудь маститым автором или, скажем, на круглый стол «Образ передового рабочего в поэме семидесятых». Но, предъявив приглашение бдительной и очень скандальной старушке-администраторше, я шел, конечно, не в зал направо, а в буфет или ресторан – прямо, где и находил своих товарищей по литературному поколению, проникших сюда подобным же образом чуть раньше, но уже успевших напиться до состояния буйного самоуважения...

Сложнее, конечно, было попасть в Дом литераторов днем, когда буфет и ресторан уже работали, но в кабинетах и коридорчиках еще кипела литературно-административная жизнь, напоминавшая суету бригады реаниматоров вокруг коченеющего тела – назовем это тело для простоты социалистическим реализмом. (Не путать с русской литературой!) Но вот днем-то вас сразу же останавливали на пороге и строго спрашивали: «Ваш писательский билет!» Это теперь я гордо взмахиваю перед носом администраторши красной корочкой, а тогда я использовал массу уловок. Порой

я просто называл фамилию кого-то из поэтов-бильярдистов, с самого утра толкавшихся с киями наперевес, играя в «американку». Но чаще я караулил, выглядывая из-за угла, пока в Дом не заглянет какой-нибудь известный мне литератор, например знаменитый менестрель-шестидесятник Перелыгин, исполнявший свои баллады не под гитару, как другие, а под виолончель, каковую всегда носил с собой. Он заходил в ЦДЛ почти каждый день, если, конечно, не был в заграникомандировке, и я всегда с нетерпением ждал появления этого великого человека, намурлыкивая про себя его знаменитую балладу «Принцесса и комиссар», на которой все мы выросли:

Принцесса вздохнула: ну, что же вы!

Принцесса вскричала: ну, что же вы!

Принцесса взмолилась: ну, что же вы!

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tellnovel.com/yuriy-polyakov/kozlenok-v-moloke>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)